

Жермена
де СТАЛЪ
Коринна,
или Италия



Жермена де Сталь

Коринна, или Италия

«ЭКСМО»

1807

де Сталь Ж.

Коринна, или Италия / Ж. де Сталь — «Эксмо», 1807

Мадам де Сталь – французская писательница, известная также политическими и историческими сочинениями, бывшая в оппозиции Наполеону, держательница светского салона, в котором бывали Талейран и Б. Констан, по словам А. С. Пушкина, ее «удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения». «Коринна, или Италия» – это и красочный путеводитель по Италии и итальянскому искусству с яркими описаниями храмов, дворцов, праздников и обычаев, и роман о любви, о выборе между славой и любовью, затрагивающий и тему эмансипации. «Любви нас не природа учит // А Сталь или Шатобриан» (Евгений Онегин. Пропущенные строфы. А. С. Пушкин).

© де Сталь Ж., 1807

© Эксмо, 1807

Содержание

Книга первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	10
Глава четвертая	13
Глава пятая	17
Книга вторая	19
Глава первая	19
Глава вторая	22
Глава третья	24
Глава четвертая	29
Книга третья	31
Глава первая	31
Глава вторая	35
Глава третья	37
Книга четвертая	41
Глава первая	41
Глава вторая	45
Глава третья	47
Глава четвертая	52
Глава пятая	57
Глава шестая	60
Книга пятая	62
Глава первая	62
Глава вторая	65
Глава третья	67
Книга шестая	71
Глава первая	71
Глава вторая	75
Глава третья	78
Глава четвертая	84
Конец ознакомительного фрагмента.	87
Комментарии	

Жермена де Сталь

Коринна, или Италия

Перевод романа выполнен по первому собранию сочинений де Сталь: *Oeuvres complètes*. Т. VIII–IX. Paris, 1820–1821. Первый русский перевод «Коринны» появился в 1809–1810 гг. в Москве в издании Университетской типографии. Имя переводчика не было указано. В дальнейшем несколькими изданиями вышел другой, тоже безымянный, перевод в «Новой библиотеке Суворина» (СПб., б. г.), (СПб., 18...), (СПб., 1900), (СПб., 1908).

Перевод с французского, комментарии *М. Черневич*

© Черневич М., перевод на русский язык, комментарии. Наследники, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

.....udrallo il bel paese
Ch'Apennin parte, e'l mar circonda e l'Alpe.

Petrarka¹

¹ [...мои стихи услышит] прекрасная страна, которую разделяют Апеннины и окружают море и Альпы. *Петрарка*. Сонет CXLVI.

Книга первая Освальд

Глава первая

Лорд Освальд Нельвиль, пэр Шотландии, собираясь провести зиму в Италии, выехал в конце 1794 года из Эдинбурга. У него была красивая благородная внешность, он отличался большим умом, принадлежал к высшей знати и владел независимым состоянием. Но тяжкая скорбь подорвала его здоровье, и врачи, опасаясь за его слабые легкие, советовали ему подышать воздухом Юга. Он послушался их совета, хоть и не слишком заботился о продлении своих дней. Все же он надеялся, что смена новых впечатлений, ожидавших его в путешествии, поможет ему рассеяться. Причиной его недуга была одна из самых глубоких наших горестей – утрата отца; злополучное стечение обстоятельств, муки раскаяния, обостренные до крайности развитым нравственным чувством, еще больше растравляли его душевную рану, в чем немалую роль играло и расстроенное воображение. Когда человек подавлен несчастьем, он легко убеждает себя, что сам виновен в своих бедствиях, а гнетущая тоска способна смутить даже чистую совесть.

В двадцать пять лет лорд Нельвиль тяготился жизнью; его рассудок судил обо всем предвзято, а болезненная чувствительность заранее отвергала все обольщения сердца. Никто не выказывал себя более снисходительным, более преданным другом, чем он, когда кому-нибудь требовалась его помощь, но ничто не доставляло ему удовлетворения, даже сделанное им добро; он всегда и с большою охотой приносил в жертву свои личные склонности ради ближних; однако не одним лишь великодушием объяснялось подобное самоотречение: нередко причина его таилась в унынии, наполнявшем душу Освальда и делавшем его равнодушным к собственной участи. Люди, безразлично к нему относившиеся, обращали к своей выгоде эту особенность его характера и находили ее весьма привлекательной; те же, кому был дорог Освальд, замечали, что, заботясь о чужом благе, для себя он не ждал ничего, и огорчались, не имея возможности воздать ему за то счастье, какое он им дарил.

А между тем натура у Освальда была живая, впечатлительная, страстная; он сам увлекался и был наделен всем, что могло увлечь других; но горе и встревоженная совесть внушили ему страх перед судьбой: он решил, что обезоружит ее, ничего от нее не требуя. В строгом выполнении своего долга, в отказе от жизненных угод он надеялся найти защиту от тревог и волнений; его страшили душевные муки, он полагал, что нет таких ценностей в мире, ради которых стоило бы подвергать себя опасности вновь испытать эти страдания. Но если человек склонен испытывать душевные муки, какой образ жизни может от них оградить?

Лорд Нельвиль тешил себя надеждой, что покинет Шотландию без сожалений – ведь пребывание на родине не доставляло ему радости; но не так создано гибельное воображение пылких душ: он не подозревал, какие узы привязывали его к местам, где он так много пережил, – к его отчому дому. В этом доме были покои, к которым он не мог приблизиться без трепета; однако, удаляясь от них, он еще сильнее ощущал свое одиночество. Его сердце словно иссохло; он уже не в силах был проливать слезы, когда изнывал от горя; он утратил способность воскрешать в своей памяти мелочи семейного быта, которые раньше его так умиляли; воспоминания его потускнели: они были так далеки от всего, что окружало его; он, как и прежде, постоянно думал о том, кого все время оплакивал, но все труднее становилось ему вызывать в своем воображении облик покойного.

Порой Освальд корил себя за то, что покинул места, где жил его отец. «Кто знает, – говорил он себе, – дано ли теньям усопших следовать всюду за теми, кого они любили? Быть может, им дозволено блуждать лишь близ мест, где покоятся их останки? Может быть, в это мгновение мой отец тоже тоскует обо мне? Но нет у него сил призывать меня из такой дали. Увы! Стечение неслыханных обстоятельств заставило его при жизни увериться в том, что я пренебрег его нежной привязанностью ко мне, нарушил свой долг перед отчизной, восстал против родительской воли, против всего святого на земле!» Эти мысли причиняли лорду Нельвилю такую нестерпимую боль, что он не только не мог ни с кем поделиться ими, но и сам боялся им предаваться. Ведь так легко причинить себе своими размышлениями непоправимое зло!

Особенно тягостно разлучаться с родиной, когда надо переплыть море, покидая ее. Торжественно путешествие, которое начинается с океанских просторов, так и чудится, что за спиной разверзается бездна и обратный путь уже отрезан навек! Впрочем, зрелище моря всегда производит сильное впечатление: словно возникает перед очами образ бесконечности, беспрестанно манящей к себе человеческую мысль, которая в ней бесследно теряется. Освальд стоял, опершись на кормило корабля, не сводя пристального взгляда с волн, и казался спокойным, ибо гордость, а вместе и робость почти никогда не позволяли ему открывать свои чувства – даже друзьям. Но его волновали мрачные думы. Освальд вспоминал юность, когда один лишь вид моря вызывал в нем стремление помериться с ним силами и он без оглядки бросался в плавь, рассекая волны руками. «Для чего, – с горечью говорил он себе, – непрестанно предаваться размышлениям? Ведь столько наслаждения в деятельном существовании, в этой яростной борьбе, дающей ощущение могучей силы жизни! Тогда и сама смерть, быть может, становится славным подвигом: она настигает внезапно, ей не предшествует угасание. Но смерть, что приходит не по зову храбреца, а прокрадывается к нам потихоньку, в потемках, в долгие ночные часы отнимая у нас понемногу самое дорогое, не внемля нашим жалобам, отталкивая нашу руку и беспощадно направляя против нас вечные законы природы и времени, – такая смерть вселяет в нас презрение к судьбе человека, к бесплодности его страданий, к тщетным попыткам сопротивления, которые разбиваются о неизбежность».

Вот какие чувства обуревали Освальда; его состояние было тем мучительнее, что живость молодости соединялась в нем с привычкой к размышлениям, присущим иному возрасту. Он проникался мыслями, которые, должно быть, приходили в последние дни жизни к его отцу, но в меланхолические раздумья старости вносил пыл своих двадцати пяти лет. Он был ко всему безучастен, однако сожалел о счастье, будто у него еще сохранялись какие-то иллюзии. Такое противоречие, столь противное велениям природы, требующей согласованности и последовательности в естественном ходе вещей, приводило в смятение Освальда; однако его обхождение с людьми оставалось спокойным и ровным, а тихая грусть, далекая от дурного расположения духа, сообщала его характеру еще больше доброты и благожелательности.

Несколько раз при переходе из Гарвича в Эмден море угрожало бурей; лорд Нельвиль помогал советами матросам, подбадривал пассажиров, а когда сам брался за штурвал, заменяя на время рулевого, то обнаруживал большую силу и сноровку – и не только потому, что был от природы ловок и подвижен, но и потому, что вкладывал душу во все, что ни делал.

Когда пришла пора расставаться, вся команда корабля окружила Освальда, желая с ним проститься; его благодарили за множество разных услуг, о которых он уже позабыл: то он часами играл с малым дитятей, то поддерживал старца во время качки... Подобное отсутствие себялюбия весьма редко встречается; целый день проходил так, что он совсем забывал о себе: он весь принадлежал людям, объятый тоскою и любовью к ним. Прощаясь с Освальдом, матросы в один голос твердили: «Да пошлет вам Бог больше счастья, дорогой наш милорд!» Между тем он ничем не выдал своего горя, и спутники его круга ни словом не обмолвились с ним об этом. Но простолюдины, с которыми редко бывают откровенны вышестоящие, привыкли без

слов понимать чужие чувства; они сострадают вам, когда вы горюете, хотя и не знают причины ваших печалей; участие их непритворно, в нем нет и тени желания вас порицать или поучать.

Глава вторая

Что бы ни говорили, но путешествие – одно из самых грустных удовольствий. Если вам хорошо в иноземном городе, это значит, что вы уже понемногу сроднились с ним; но проезжать через незнакомые страны, слышать едва понятный язык, видеть лица, не связанные ни с вашим прошлым, ни с будущим, – это значит испытывать полное одиночество, но не знать ни отдыха, ни душевного покоя. Вечная поспешность, стремление поскорее попасть туда, где никто вас не ждет, суэта и хлопоты, единственной целью которых является удовлетворение любопытства, подрывают ваше уважение к себе, пока чужая обстановка не утратит хоть немного своей необычности и ваши пристрастия и привычки не создадут для вас новых приятных уз.

Тоска Освальда удвоилась, когда он проезжал по Германии, направляясь в Италию. Шла война, и приходилось избегать близости Франции и пограничных с ней местностей^[1]; приходилось держаться и в стороне от армий, затруднявших движение на дорогах. Необходимость заниматься неизбежными дорожными мелочами и принимать каждый день и почти каждый час новые решения удручала лорда Нельвиля. Его здоровье, отнюдь не улучшившееся, вынуждало его к частым остановкам, меж тем ему хотелось ехать дальше и достичь наконец места своего назначения. Он кашлял кровью и совсем не следил за собой; считая себя виноватым, он осуждал себя с чрезмерной суровостью. Жить, по его мнению, стоило лишь для того, чтобы защищать свою страну. «Разве отчизна, – говорил он себе, – не имеет на нас родительских прав? Однако отчизне надобно служить с пользой для нее; к чему ей жалкое существование, какое я сейчас влачу, собираясь вымаливать у солнца крохи жизненных сил для борьбы против моих недугов? Лишь родной отец может принять сына в таком состоянии и тем сильнее любить его, чем горше он обижен природой и судьбой».

Лорд Нельвиль не оставлял надежду, что разнообразие дорожных впечатлений отвлечет его несколько от привычных мыслей; но было еще далеко до желанной цели. После большого несчастья приходится вновь осваиваться с окружающей обстановкой, свыкаться с лицами, которых видишь снова, с домом, в котором живешь, с повседневными занятиями, к которым должен вернуться. Каждое такое усилие дорого стоит человеку, а сколько подобных усилий надобно делать в пути!

Единственным развлечением лорда Нельвиля были прогулки в горах Тироля верхом на лошади, которую он вывез из Шотландии. Как все лошади этой страны, она поднималась вскачь на горные вершины, и он обычно выбирал самые крутые тропинки, оставляя в стороне большую дорогу. Изумленные крестьяне испуганно вскрикивали, увидев всадника на краю пропасти, но потом хлопали в ладоши, восхищаясь его ловкостью, отвагой, проворством. Освальд любил смотреть в глаза опасности: это ощущение облегчало бремя его горести, на мгновение примиряло с жизнью, которую так легко было потерять и которую он и на сей раз отстоял у смерти.

Глава третья

Перед отъездом из города Инсбрука в Италию Освальд услышал от негоцианта, у которого он некоторое время проживал, историю одного французского эмигранта, весьма располагавшую в его пользу. Граф д'Эрфейль, как звали этого человека, с совершенной невозмутимостью перенес потерю огромного состояния; с помощью своего музыкального дарования он зарабатывал на хлеб себе и своему престарелому дяде, за которым заботливо ухаживал до самой его кончины; он постоянно отказывался от денег, которые многие ему предлагали; во время войны он отличался блистательной, чисто французской отвагой и встречал все невзгоды с неизменной веселостью; сейчас граф д'Эрфейль намеревался поехать в Рим, отыскать там своего родственника, чьим наследником он был, и желал найти себе спутника или, вернее, друга, чтобы как можно приятнее совершить свое путешествие.

С Францией у Освальда были связаны самые горестные воспоминания; однако он был далек от предрассудков, разъединяющих два народа, и его близким другом был француз, в котором он находил превосходное соединение высоких душевных качеств. Вот почему, обратившись к негоцианту, поведавшему ему историю графа д'Эрфейля, Освальд изъявил готовность взять с собой в Италию этого благородного и несчастного молодого человека. Не прошло и часа, как негоциант сообщил лорду Нельвилю, что его предложение с признательностью принято. Освальд был счастлив, что мог предложить французу свои услуги; но ему было нелегко отказаться от уединения, преодолеть свою застенчивость и внезапно очутиться в обществе совершенно незнакомого ему человека.

Граф д'Эрфейль явился к лорду Нельвилю лично его поблагодарить. Он отличался изящными манерами, был учтив без всякой чопорности и с самого начала знакомства держался с полной непринужденностью. Нельзя было не подивиться, глядя на этого человека, претерпевшего столько бед; он с таким мужеством принимал удары судьбы, что, казалось, просто не помнил о них; легкий тон, каким он говорил о своих злоключениях, придавал особую прелесть его беседе, правда, до тех пор, пока речь не заходила о других предметах.

– Я вам чрезвычайно признателен, милорд, – сказал граф д'Эрфейль, – за то, что вы увозите меня с собой из Германии^[2], где я был готов умереть от скуки.

– Однако здесь вас все любят и почитают, – ответил лорд Нельвиль.

– У меня здесь есть друзья, – продолжал граф д'Эрфейль, – и я расстанусь с ними с искренним сожалением; в этой стране можно встретить прекраснейших людей; но я не знаю ни слова по-немецки, и согласитесь, что изучение этого языка потребовало бы немало усилий и было бы для меня утомительно. С тех пор как я имел несчастье потерять своего дядюшку, я не знаю, как убить время; когда мне надо было ухаживать за ним, день мой был заполнен, а сейчас двадцать четыре свободных часа ложатся на меня невыносимым бременем.

– Нежное внимание, какое вы проявляли по отношению к вашему дяде, – сказал лорд Нельвиль, – вызывает самое глубокое уважение к вам.

– Я выполнял лишь свой долг, – возразил граф д'Эрфейль. – Бедняга осыпал меня благодарениями, когда я был ребенком; я никогда не покинул бы его, доживи он хоть до ста лет! Счастье его, что он умер; пожалуй, такой конец был бы счастьем и для меня, – добавил он, смеясь, – у меня мало надежд в этом мире. Я старался изо всех сил, чтобы меня убили на войне, но уж раз судьба пощадила меня, надобно жить по возможности приятнее!

– Я благословил бы мой приезд сюда, – ответил лорд Нельвиль, – если бы вам было хорошо в Риме и если бы...

– Бог ты мой! – перебил его граф д'Эрфейль. – Мне везде будет хорошо: когда человек молод и весел, все улаживается! Мою философию я почерпнул не из книг и размышлений: меня многому научило общение с людьми и привычка переносить несчастья; и вы сами видите,

милорд, я имею основания надеяться на случай – ведь он мне доставил возможность совершить путешествие вместе с вами.

С этими словами граф д'Эрфейль с величайшей грацией поклонился лорду Нельвилю и, условившись с ним о часе отъезда, удалился.

На следующий день граф д'Эрфейль и лорд Нельвиль отправились в путь. Обменявшись со своим спутником двумя-тремя фразами, которых требовала простая вежливость, Освальд в продолжение нескольких часов не произнес ни слова; однако, заметив, что молчание тяготит графа, он спросил, радуется ли того, что он едет в Италию.

– Бог ты мой! – сказал граф д'Эрфейль. – Я знаю, чего мне ожидать от этой страны: я отнюдь не рассчитываю там развлекаться. Один из друзей моих, проживший в Италии полгода, рассказывал мне, что во Франции нет ни одного провинциального городка, где бы не было более порядочного театра и более приятного общества, чем в Риме; но, без сомнения, в этой древней столице мира я найду несколько французов, с кем смогу поболтать, и это все, что мне надо.

– И у вас никогда не было охоты изучать итальянский язык? – прервал его Освальд.

– Никогда, – ответил граф д'Эрфейль, – это не входило в план моих занятий.

И он принял при этих словах столь важный вид, что можно было подумать, будто решение его основано на самых веских мотивах.

– Если вам угодно знать, – продолжал граф д'Эрфейль, – из всех наций я признаю только французов и англичан; надобно быть такими гордыми, как вы, или же блистать, подобно нам, все прочее – лишь подражание.

Освальд замолчал; граф д'Эрфейль через несколько минут возобновил разговор, пересыпая его веселыми шутками и остротами. Он весьма искусно играл словами и фразами; но ни явления внешнего мира, ни сердечные чувства не были предметом его речей. В своей беседе он не проявлял ни глубины мысли, ни богатства воображения, и главным ее содержанием были события и связи большого света.

Он упомянул десятка два имен, известных во Франции и в Англии, чтобы узнать, знакомы ли они лорду Нельвилю, и очень мило рассказал по этому поводу несколько пикантных анекдотов; прослушав его, можно было подумать, что единственный разговор, приличествующий человеку со вкусом, – это пересуды и сплетни, которые ведутся в дружеской компании.

Лорд Нельвиль задумался над характером графа д'Эрфейля. Какое причудливое смешение стойкости и легкомыслия! Это презрение к жизненным бедам можно было бы счесть великим достоинством, если бы оно стоило больших усилий; в нем было бы даже нечто героическое, если бы оно не проистекало из того источника, который лишает людей способности к глубоким привязанностям. «Англичанин, – говорил себе Освальд, – в подобных обстоятельствах был бы удручен печалью. Где черпает силы этот француз? Откуда эта гибкость его натуры? Не ведомо ли и вправду графу д'Эрфейлю искусство жить? Не значит ли, что я попросту болен, когда почитаю себя выше его? Быть может, его легкомысленное существование скорее отвечает законам быстротечной жизни, нежели мое? И не надлежит ли вместо того, чтобы всю душой предаваться размышлениям, избегать их, как опасного врага».

Но если бы Освальд и разрешил свои сомнения, это бы ни к чему не привело: никому не дано выйти за пределы предначертанной ему духовной сферы, а подавлять свои достоинства еще труднее, чем недостатки.

Граф д'Эрфейль нимало не интересовался Италией и всячески отвлекал лорда Нельвиля, не давая ему возможности проникнуться всем очарованием этой прекрасной живописной страны. Освальд настороженно прислушивался к шуму ветра, к журчанию волн: голоса природы давали больше радости его душе, чем разговоры о светском обществе, которые велись и у подножья Альп, и среди руин, и на морском берегу.

Удовольствию, какое Освальд мог бы вкусить от знакомства с Италией, препятствовала не столько недавняя его тоска, сколько веселость графа д'Эрфейля; душе, открытой всем впечатлениям, скорбь не мешает любоваться природой и наслаждаться искусствами; но легкомыслие, под какой бы личиной оно ни выступало, отнимает у внимания его напряженность, у мысли ее самобытность, у чувства его глубину. Одним из странных следствий этого легкомыслия была робость, которая овладевала лордом Нельвилем в присутствии графа д'Эрфейля: почти всегда смущение испытывает тот, в чьем характере больше серьезности. Блестящая легкость ума ослепляет созерцательные натуры, и тот, кто уверяет, что он счастлив, кажется более мудрым, нежели тот, кто страдает.

Граф д'Эрфейль был мягок, любезен, покладист, глубокомыслие проявлял лишь в вопросах самолюбия и был достоин любви в той мере, в какой сам был способен любить, то есть как хороший товарищ в забавах и опасностях; но он не понимал, что значит разделять чужие горести. Ему докучала меланхолия Освальда, и по доброте сердечной, а также по своей жизнерадостности он хотел бы ее развеять.

– Чего вам недостает? – нередко спрашивал он Освальда. – Ведь вы молоды, богаты и, если угодно, здоровы, ибо вы больны лишь оттого, что грустите. Я потерял богатство, все, чем держалась моя жизнь; я не знаю, что меня ждет, и все-таки я наслаждаюсь жизнью, словно владею всеми сокровищами земли.

– Вы обладаете мужеством, столь же необычайным, сколь и достойным уважения, – отвечал лорд Нельвиль, – но невзгоды, которые вы испытали, причиняют меньше страданий, нежели сердечные печали!

– Сердечные печали! – воскликнул граф д'Эрфейль. – О, это верно. Это самые жестокие из... Но... но... и от них можно исцелиться, ибо человек рассудительный должен отгонять от себя все, что не может служить на пользу ни ему самому, ни другим. Не для того ли мы живем на земле, чтобы прежде всего быть полезными, а лишь затем счастливыми? Мой дорогой Нельвиль, ограничимся этим!

Слова графа д'Эрфейля были вполне справедливы с точки зрения обычного здравого смысла: ведь он был во многих отношениях весьма неглуп, да и натуры легкомысленные менее склонны к безумствам, нежели натуры страстные; но образ мыслей графа д'Эрфейля был чужд лорду Нельвилю, и он готов был уверить своего спутника, что почитает себя счастливейшим из смертных, лишь бы избавиться от его утешений.

При всем том граф д'Эрфейль очень привязался к лорду Нельвилю: его покорность судьбе, простота в обращении, скромность и гордость внушали невольное уважение к нему. Внешняя сдержанность Освальда глубоко задевала графа д'Эрфейля; он старался припомнить поучения своих престарелых родителей, слышанные им еще в детстве, чтобы хоть как-нибудь воздействовать на своего друга; удивляясь тому, что никак не может побороть видимую его холодность, граф д'Эрфейль говорил себе: «Разве мало во мне сердечной прямоты, храбрости? разве я не бываю занимателен в обществе? Чего же недостает мне, чтобы расположить к себе этого человека? Не произошло ли между нами какое-нибудь недоразумение оттого, что он не совсем хорошо владеет французским языком?»

Глава четвертая

Неожиданный случай еще больше усилил в графе д'Эрфейле то чувство почтения, которое он, почти безотчетно, питал к своему спутнику. Состояние здоровья лорда Нельвиля вынудило его остановиться на несколько дней в Анконе. Этот городок живописно расположен на берегу моря у склона горы, а множество греков, работающих сидя перед своими лавками, поджав под себя ноги по восточному обычаю, и пестрая одежда снующих по улицам жителей Леванта^[3] придают всей местности весьма любопытный и своеобразный вид. Развитие цивилизации неизбежно приводит к тому, что между людьми появляется сходство – и не только во внешнем облике. Однако воображение и разум пленяются именно тем, что отличает народы один от другого. Люди становятся однообразными лишь тогда, когда их чувства притворны, а поступки заранее рассчитаны; все же то, что естественно, – разнообразно. Вот почему разнообразие одежды доставляет нам удовольствие: оно ласкает наш взор, предвещая знакомство с новой манерою мыслить и ощущать.

Православное, католическое и иудейское вероисповедания мирно уживаются рядом в Анконе. Хотя обряды этих религий резко различны, из уст всех верующих возносится к небу один и тот же горестный вопль, одна и та же мольба о помощи.

На крутой вершине горы прямо над морем высится католическая церковь, и шум волн там часто сливается с песнопениями священнослужителей. Внутри она испорчена множеством довольно безвкусных украшений, но открывающийся с портика храма величественный вид на море, на котором человек никогда не мог запечатлеть свой след, невольно вызывает в душе религиозное чувство, самое чистое, какое она способна испытывать. Человек избородил плугом землю, проложил тропы в горах, отвел из рек воду в каналы, чтобы возить по ним свои товары, но стоит лишь кораблю на миг вспенить морскую гладь, как набежавшие волны спешат тотчас же стереть сей слабый знак подчинения, и море вновь становится таким, как в первый день творения.

Лорд Нельвиль уже собирался выехать из Анконы в Рим, как вдруг ночью, накануне отъезда, услышал душераздирающие крики, доносившиеся из города. Он быстро вышел из гостиницы, желая узнать, что случилось, и увидел пожар, который вспыхнул в порту, а затем, разгораясь все сильнее и сильнее, уже добирался до верхней части города. Вдали на море дрожали отблески пламени; поднявшийся ветер раздувал огонь, колыхая его отражение в воде, и вздыбившиеся волны дробили на тысячу бликов кровавые отсветы мрачного зарева.

Жители Анконы не имели сколько-нибудь годных пожарных насосов и могли помочь своей беде лишь голыми руками. Сквозь шум и крики слышался лязг кандалов – это шли каторжники, которых заставили трудиться для спасения города, ставшего им тюрьмой. Разноплеменные сыны Леванта, привлеченные в Анкону торговыми делами, оцепенели от испуга и глядели перед собой остановившимся взглядом. При виде лавок, объятых пламенем, купцы совершенно потеряли голову. Беспокойство за свое имущество волнует большинство людей не менее, нежели страх смерти, но не вызывает в них того душевного подъема и энергии, при которых только и можно найти выход из бедственного положения.

В протяжных криках матросов всегда есть нечто заунывное, а тревога делает их совсем зловещими. Из-под причудливых красновато-коричневых капюшонов виднелись выразительные физиономии итальянских моряков с Адриатического побережья, сейчас искаженные гримасами ужаса.

Жители города бросались на землю, закутавшись с головой в плащи, словно им больше ничего не оставалось, как спрятаться от беды; были и такие, что сами кидались в огонь, отчаявшись спастись; на лицах можно было прочитать выражение ярости или безнадежной покор-

ности судьбе, но ни у кого не было того хладнокровия, какое умножает силы и способности человека.

Освальд припомнил, что в гавани стояли два английских корабля, на борту которых были отличные пожарные насосы; он бросился к капитану, и они вместе отправились за ними. Когда оба садились в шлюпку, горожане кричали им вслед:

– Вы правильно делаете, чужестранцы, что покидаете наш злосчастный город!

– Мы вернемся обратно! – отвечал Освальд, но ему не поверили.

Однако он вернулся и установил один насос у дома, который первым загорелся в порту, а другой – у дома, пылавшего посередине улицы. Граф д'Эрфейль беспечно рисковал своей жизнью с обычными для него мужеством и веселостью; английские матросы и слуги лорда Нельвиля прибежали ему на помощь, меж тем как жители Анконы не трогались с места, едва понимая, что хотят делать эти чужестранцы, и ничуть не веря в успех их стараний.

По всему городу звонили колокола; священники устраивали крестные ходы; женщины плакали, распростершись перед статуями святых, стоявшими в нишах на углах улиц; но никому не приходило в голову обратиться к земным средствам, которые Бог даровал людям для их защиты. Однако, когда горожане убедились, что усилия Освальда не пропали даром, что пожар затухает и домам их уже не грозит гибель, изумление сменилось восторгом; они окружили лорда Нельвиля и целовали ему руки с таким жаром, что он вынужден был гневно прикрикнуть на них, дабы никто не мешал быстрым выполнениям его приказов и решительным действиям, необходимым для спасения города. Все жители Анконы теперь встали под его команду, ибо при любых обстоятельствах – и незначительных, и важных – там, где появляется опасность, появляется и храбрость, а когда страх охватывает всех, люди перестают чуждаться друг друга.

В несмолкаемом гуле голосов Освальд расслышал пронзительные крики, доносившиеся с другого конца города. На его вопрос, откуда эти крики, ему ответили, что они несутся из еврейского квартала. Полицейский чиновник, по своему обыкновению, запер на ночь ворота этого квартала, и теперь, когда огонь уже приближался, евреи не могли оттуда выбраться. Освальд вздрогнул при мысли об этом и потребовал, чтобы тотчас открыли ворота; услышав его слова, несколько женщин из народа упали перед ним на колени, заклиная его отменить свое приказание.

– Разве вы не видите, наш ангел-хранитель, – твердили они, обращаясь к нему, – что мы пострадали из-за евреев? Они нам приносят беду: если вы их выпустите, в море неостанет воды, чтобы потушить пожар.

И они так горячо, с такой искренней убежденностью молили его оставить евреев погибнуть в огне, словно речь шла о милосердном поступке. Это были вовсе не злые женщины, но суеверные, а бедствие, которое обрушилось на их головы, еще больше расстроило их воображение. Освальд с трудом сдерживал негодование, слыша эти дикие просьбы.

Он отправил четырех английских матросов с топорами в руках сломать ворота, преграждавшие выход несчастным, и те тотчас устремились в город; спасая свои товары, они бросались в огонь и проявляли такую алчность, в которой есть нечто жуткое, когда она заставляет презирать и самую смерть. Можно подумать, что при нынешнем состоянии общества жизнь человека сама по себе не имеет никакой ценности.

В верхней части города в конце концов остался лишь один горящий дом, но пламя охватило его таким тесным кольцом, что невозможно было его погасить и тем более – проникнуть внутрь. Жители Анконы выказывали такое равнодушие к этому дому, что английские матросы, считая его нежилым, отвезли пожарные насосы обратно на корабль. Освальд, оглушенный криками взывавших о помощи, сначала и сам не обратил на это внимания. Огонь занялся на той стороне позднее, но очень быстро разгорался. Когда же лорд Нельвиль с живостью спросил, что это за дом, ему ответили, что это госпиталь для умалишенных. При этих словах он содрогнулся от ужаса и оглянулся вокруг, но ни матросов, ни графа д'Эрфейля не было и в помине.

Обращаться за помощью к местным жителям было бесполезно: почти все они были заняты спасением своих товаров, к тому же они почитали нелепым подвергать свою жизнь опасности ради неизлечимо больных людей.

– Если сумасшедшие помрут и никто в этом не будет виновен, – говорили они, – то будет милость Господня для них и для их родных.

Не слушая этих разговоров, Освальд быстрыми шагами направился к госпиталю, а толпа, только что осуждавшая его, двинулась за ним, объятая невольным и смутным чувством восхищения. Освальд подошел к дому и увидел в единственном окне, свободном от огня, лица больных: они, осклабясь, следили за пожаром, и их леденящий душу смех наводил на мысль либо об их полном неведении жизненных зол, либо о столь глубоких душевных мучениях, когда никакая смерть уже не страшна. При этом зрелище Освальда бросило в дрожь: в минуты тяжкого отчаяния он тоже бывал близок к умопомешательству, и с тех пор вид безумца всегда вызывал в нем глубокую жалость. Он схватил лестницу, стоявшую внизу, приставил ее к стене, поднялся по ней, окруженный пламенем, и проник через окно в палату, где собрались горемыки, оставшиеся в госпитале.

Они не были буйными и пользовались правом свободно ходить по дому, за исключением одного, который сидел на цепи в этой самой палате, где, пробиваясь сквозь дверь, уже показался огонь, пока еще не затронувший пола. Неожиданное появление Освальда так поразило и восхитило эти жалкие существа, изнуренные болезнью и страданиями, что сперва они беспрекословно подчинились ему. Пропустив больных вперед, он приказал им сойти друг за другом по лестнице, готовой загореться в любое мгновение. Покоренные голосом и лицом Освальда, первые двое без звука повиновались ему. Третий начал сопротивляться, не сознавая, как опасна для него каждая минута промедления и чему он подвергает Освальда, задерживая его наверху. Из толпы, понимавшей весь ужас положения лорда Нельвиля, кричали, чтобы он вернулся назад, бросив безумцев на произвол судьбы; но их избавитель и слушать ничего не хотел, покамест не выполнит своего великодушного замысла.

Из шести несчастных, находившихся в госпитале, пятеро были уже спасены; оставался только шестой – прикованный цепью к стене. Освободив его, Освальд пытался внушить ему, чтобы он последовал за своими товарищами; однако бедный малый лишен был и тени рассудка: отделившись от цепи, на которой он просидел два года, он начал неистово кружиться по палате. Но его радость превратилась в бешенство, как только Освальд захотел принудить его выбраться через окно. Видя, что пламя бушует вокруг все яростнее и нельзя убедить сумасшедшего спасти свою жизнь, лорд Нельвиль схватил его в охапку и, хотя тот отбивался, силою вытащил из палаты. Дым так застилал глаза Освальду, что он спускался со своей ношей, не видя, куда ступает; с последних ступенек лестницы он прыгнул наудачу и передал безумца, осыпавшего его бранью, стоявшим рядом людям, взяв с них обещание позаботиться о нем.

Возбужденный только что пережитой опасностью, с разметающимися волосами и сияющим гордостью кротким взором, Освальд вызвал восхищение толпы, глядевшей на него чуть ли не с фанатическим обожанием. Особенно пылко восторгались им женщины, выражавшиеся тем образным языком, который является почти всеобщим даром в Италии и придает благородство простонародной речи. Бросаясь перед ним на колени, женщины кричали:

– Мы знаем, ты архангел Михаил, защитник нашего города! Разверни свои крылья, но не покидай нас: взлети на соборную колокольню, пусть все тебя видят и молятся тебе!

– Мой ребенок болен, – говорила одна. – Исцели его!

– Скажи мне, – спрашивала другая, – где мой муж? Вот уже два года, как он пропал без вести.

Освальд старался куда-нибудь скрыться. Тут к нему подошел граф д'Эрфейль и, пожимая ему руки, сказал:

– Дорогой Нельвиль, надо было хоть что-нибудь оставить и на долю друзей, нехорошо брать на себя одного все опасности!

– Выведите меня отсюда! – тихонько попросил его Освальд.

Воспользовавшись наступившей темнотой, оба поспешно отправились нанимать почтовых лошадей.

Сначала лорд Нельвиль испытывал некоторое удовлетворение от сознания, что он совершил доброе дело; но с кем поделиться своей радостью, раз его лучшего друга не стало? О, горе сиротам! Счастливые события, как и огорчения, еще сильнее дают почувствовать душевное одиночество. И в самом деле, что заменит нам привязанность, родившуюся вместе с нами, это взаимное понимание, эту кровную близость, эту дружбу между отцом и сыном, уготованную Небом? Допустим, мы снова полюбим, но любить человека, которому можно излить свою душу, – это невозвратимое счастье.

Глава пятая

Освальд проехал через границу Анконы и всю Папскую область до самого Рима, ничего не замечая, ни на что не обращая внимания; виною этому были его грустное настроение и то уже привычное состояние душевной апатии, от которой его пробуждали только сильные потрясения. Вкус к изящным искусствам у него еще не был развит; до сих пор он бывал лишь во Франции, где средоточием жизни является общество, и в Лондоне, где люди почти целиком поглощены политическими интересами; погруженный в свои горести, он не поддавался очарованию природы и великих произведений искусства.

Граф д'Эрфейль бегал по городам с путеводителем в руках, получая при этом двойное удовольствие: он тратил свое время на то, чтобы сперва все увидеть, а затем уверять, что для человека, знакомого с Францией, в Италии смотреть совершенно не на что. Скучающий вид графа д'Эрфейля нагонял тоску на Освальда; впрочем, и у него было предубеждение против Италии и итальянцев: ему еще не открылась душа этой страны и ее народа – тайна, которую можно скорее постигнуть с помощью воображения, чем здравого смысла, занимающего столь важное место в системе английского воспитания.

Итальянцы гораздо более замечательны своим прошлым и своим возможным будущим, нежели тем, каковы они сейчас. Если смотреть лишь с точки зрения пользы на безлюдные окрестности Рима, с их почвой, истощенной веками славы и словно из презрения переставшей рождать, то, кроме опустелой, невозделанной земли, ничего не увидишь. На Освальда, воспитанного с детства в любви к порядку и общественному благоустройству, заброшенная равнина, возвещавшая о близости древней столицы мира, с самого начала произвела невыгодное впечатление, и он укорял в нерадивости итальянский народ и его правителей. Лорд Нельвиль судил об Италии как просвещенный государственный деятель, а граф д'Эрфейль – как светский человек: первый был слишком глубокомыслен, а второй – слишком легкомыслен, чтобы почувствовать неизъяснимую прелесть Римской Кампании^[4], которая поражает воображение, вызывая в памяти предания далекой старины и великие бедствия, выпавшие на долю этого прекрасного края.

Граф д'Эрфейль препотешно жаловался, браня на чем стоит свет окрестности Рима.

– Где это видано? – повторял он. – Ни загородных вилл, ни колясок, – никак не подумаешь, что мы подъезжаем к большому городу! Бог ты мой! Что за унылый вид!

Приблизившись к Риму, кучера в восторге закричали:

– Смотрите, смотрите, вот купол собора Святого Петра! – С таким же выражением гордости неаполитанцы указывают на Везувий, а приморские жители – на море.

– Как он похож на купол Дома инвалидов!^[5] – воскликнул граф д'Эрфейль.

Это сравнение, в котором было больше патриотизма, нежели справедливости, сразу нарушило то впечатление, какое могло бы произвести на лорда Нельвиля это дивное создание человеческого гения. Они приехали в Рим не в солнечный день и не лунной ночью, а в серые сумерки, когда при хмуром освещении все предметы кажутся тусклыми. Они переправились через Тибр, даже не взглянув на него, и въехали в город через Народные ворота, откуда дорога ведет на Корсо, самую большую улицу в новейшей части Рима, – части наименее своеобразной, напоминающей многие столицы Европы.

На улицах прогуливались толпы народа; на площади, где возвышается колонна Антонина^[6], любопытные теснились вокруг фокусников и кукольных балаганчиков. Все это привлекло внимание Освальда. Однако само имя Рима еще не вызывало отклика в его душе; он ощущал лишь безмерное одиночество, от которого разрывается сердце, когда попадаешь в чужой город и видишь множество чужих людей, кому нет до тебя дела. Подобные размышления, грустные для всех, особенно тяжелы для англичан, которые привыкли жить среди сооте-

чественников и с трудом приноравливаются к иноземным нравам. А в огромном караван-сарае, именуемом Римом, все кажутся иноземцами, даже сами римляне – словно они не исконные жители этого города, но «пилигримы, которые отдыхают под сенью руин»^[7]. Подавленный горьким чувством, Освальд заперся у себя в комнате и не пошел осматривать город. Он и не подозревал, что эта страна, порог которой он переступил с такою тоской, станет для него источником новых мыслей и новых наслаждений!

Книга вторая

Коринна на Капитолии

Глава первая

Освальд проснулся в Риме. Яркое солнце, солнце Италии, засияло ему прямо в глаза, и сердце его дрогнуло от любви и благодарности к небу, которое посылало на землю свои дивные лучи, словно желая напомнить о себе. По городу плыл колокольный звон бесчисленных церквей; время от времени раздавались пушечные выстрелы; они оповещали о праздничном событии; на вопрос Освальда, в чем причина торжества, ему отвечали, что нынешним утром на Капитолии будут венчать лаврами Коринну, самую знаменитую женщину Италии, – поэтессу, писательницу, импровизаторшу и одну из первых в Риме красавиц. Он стал расспрашивать о подробностях этой церемонии, освященной именами Петрарки и Тассо^[8], и то, что он услышал, еще сильнее возбудило его любопытство.

Трудно представить себе нечто более противное привычным понятиям и убеждениям англичанина, чем столь широкая известность женщины; однако энтузиазм, с каким итальянцы приветствуют творческий дар, увлекает, хотя бы ненадолго, и иностранцев: живя среди народа, так бурно выражающего свои чувства, легко порою забыть предрассудки своей родины. В Риме даже простолюдины разбираются в искусствах и со знанием дела толкуют о статуях; картины, монументы, памятники древности, литературные заслуги – любое выдающееся явление искусства становится там предметом всенародного внимания.

Освальд вышел на площадь; кругом только и говорили, что о Коринне, ее талантах, ее гении. Улицы, по которым она должна была проехать, украсили флагами. Толпа, обычно собирающаяся там, где появляются богачи или сильные мира сего, сейчас горела нетерпением увидеть женщину, единственной силой которой было ее духовное превосходство.

При современном положении дел итальянцам осталась возможность искать себе славы лишь на поприще искусств. Они воздают своим даровитым художникам такие почести, что, если бы одних оваций было достаточно, в Италии оказалось бы множество великих мужей; но для этого требуется независимое существование, дающее пищу уму, – одним словом, жизнь, полная энергической деятельности и высоких интересов.

Освальд бродил по улицам в ожидании появления Коринны. Поминутно слышалось ее имя; каждый старался прибавить нечто новое к рассказам о том, что в ней соединились все таланты, способные пленять воображение. Один говорил, что во всей стране не найти такого проникновенного голоса; другой уверял, что никто лучше ее не играет в трагедии; третий утверждал, что она танцует как нимфа, а рисунки ее необычайно изящны и полны затейливой выдумки; все вместе сходились, однако, на том, что никто до нее не писал и не импровизировал таких дивных стихов и что в самой простой беседе она покоряет умы то непринужденностью своего разговора, то пламенным красноречием. Шли споры, который из городов Италии имеет право называться ее родиной; римляне с жаром доказывали, что надобно быть уроженкою Рима, чтобы так чисто говорить по-итальянски. Никто не знал ее фамилии. Ее первая поэма, появившаяся лет пять тому назад, была подписана лишь именем Коринны. Никому не было известно, где она жила прежде и чем занималась; сейчас ей было около двадцати шести лет. Тайнственность, окружавшая столь известную женщину, о которой говорили положительно все, но настоящего имени которой не знал никто, представилась лорду Нельвилю одной из чудесных особенностей той удивительной страны, куда он попал. Доведись ему встретить такую женщину в Англии, он бы строго осудил ее; но к Италии он не применял никаких условных

общественных мерок, и обряд венчания Коринны уже манил его воображение, подобно приключению в духе Ариосто^[9].

Бравурные звуки музыки возвестили о приближении торжественной процессии. Любое событие, сопровождаемое музыкой, всегда вызывает некий трепет в душе. Шествие открывала большая группа знатных римлян, среди них было и несколько иностранцев; за ними ехала колесница, в которой восседала Коринна.

– Это кортеж почитателей Коринны, – сказал один горожанин.

– Да, – прибавил другой, – она принимает поклонение от всех, но никому не отдает явного предпочтения; она богата и независима; многие даже думают – впрочем, это по ней видно, – что она очень высокого происхождения, но не желает, чтоб об этом знали.

– Как бы то ни было, – заметил третий, – она – это божество, сокрытое облаком.

Освальд взглянул на говорившего: его внешность обличала в нем человека весьма скромного звания. Однако жители Юга с такой свободой пользуются поэтическим языком, что можно подумать, будто они черпают свои образы из воздуха и обретают их в солнечных лучах.

Но вот толпа расступилась и показалась Коринна: ее везла четверка белых коней, запряженных в античную колесницу. По обеим сторонам колесницы шли девушки в белых одеждах. Всюду, где проезжала Коринна, воздух наполнялся благовонными курениями; чтобы увидеть ее, люди толпились у окон, украшенных цветами и алыми коврами; все время раздавались возгласы:

– Да здравствует Коринна! Да здравствует гений! Да здравствует красота!

Волнение охватило решительно всех – но только не лорда Нельвиля. Напрасно старался он внушить себе, что надобно отбросить и холодную сдержанность англичанина, и насмешливость француза, чтобы судить о том, что перед ним происходит, – он безучастно смотрел на празднество, пока наконец не увидел Коринну.

Она была одета как сивилла с картины Доменикино^[10]. Индийская шаль, повязанная тюрбаном, из-под которого выбивались прекрасные черные волосы, белое платье, голубая накидка, падавшая легкими складками на грудь, – весь ее наряд был весьма живописен, но не настолько отклонялся от общепринятой моды, чтоб показаться театральным. Поза, в какой Коринна сидела на колеснице, была полна благородства и скромности; восхищение народа ее заметно радовало, но какая-то робость сквозила в ее радости, точно она просила прощения за свой триумф. Выражение ее лица, глаз, ее улыбка привлекали к ней сердца, и лорд Нельвиль проникся к ней расположением с первого взгляда, еще до того, как другое, более властное чувство не покорило его окончательно. Руки Коринны были ослепительной красоты; ее высокая статная фигура придавала ей сходство с греческой статуей; взор ее сиял вдохновением, вся она дышала молодостью и счастьем. Естественность, с какой она кланялась и благодарила за аплодисменты, еще более подчеркивала пышность необычайной обстановки, окружавшей ее; Коринна напоминала жрицу бога Аполлона, направляющуюся в храм Солнца, в то же время в ней угадывалась совсем простая женщина в своем домашнем кругу. Одним словом, все ее движения были полны прелести, вызывавшей симпатию и любопытство, удивление и нежность.

Ликование народа возрастало по мере приближения Коринны к Капитолию, месту, столь богатому воспоминаниями древности^[11]. Лучезарное небо, объятые восторгом жители Рима, а главное, сама Коринна – вся эта картина поразила Освальда. На своей родине он нередко видел, как народ чествует государственных деятелей, но впервые на его глазах почести воздавались женщине, и женщине, замечательной лишь своими талантами; ее триумфальная колесница не была орошена слезами, и ни горе, ни страх никому не мешали восхищаться лучшими дарами природы: поэтическим вдохновением, чувствами, мыслями.

Освальд так был углублен в раздумья, новые для него впечатления овладели им с такой силой, что он и не заметил, по каким древним и знаменитым в истории Рима местам проезжала

колесница Коринны. Она остановилась у лестницы, ведущей на Капитолий; друзья Коринны поспешили предложить ей руку. Она оперлась на руку князя Кастель-Форте, знатного римского вельможи, весьма почитаемого за его ум и благородный нрав; выбор Коринны был всеми одобрен. Она поднялась по лестнице Капитолия. Казалось, эти величественные ступени благосклонно принимали легкие шаги женщины. Еще громче зазвучала музыка, грянул пушечный выстрел, и сивилла вступила во дворец, приготовленный для торжественного обряда.

В глубине огромного зала ждал сенатор, который должен был возложить на Коринну лавровый венок, рядом с ним стояли старейшие сенаторы-хранители; по одну сторону зала расположились кардиналы и самые знатные дамы Италии, по другую – писатели, члены Римской академии; в противоположном конце зала теснился народ, сопровождавший Коринну. Кресло, предназначенное для нее, было поставлено на одну ступень ниже, чем кресло сенатора. Прежде чем сесть, Коринна должна была, по принятому обычаю, взойти на первую ступень и опуститься перед лицом всего высокого собрания на одно колено. Она это сделала с таким благородством и скромностью, с такой мягкостью и достоинством, что у лорда Нельвиля на глаза навернулись слезы; он сам подивился своей чувствительности, но ему почудилось, что окруженная почетом и блеском Коринна молит взглядом о помощи, о помощи друга, без чего не может обойтись ни одна женщина, как бы высоко ни вознесла ее судьба; он подумал о том, как было бы сладостно служить опорой той, которая нуждается в защите лишь потому, что от природы она нежна и добра.

Когда Коринна села в кресло, римские стихотворцы начали поочередно читать посвященные ей сонеты и оды. Поэты прославляли ее до небес, но банальные комплименты не давали представления ни о самой Коринне, ни об отличии ее от других выдающихся женщин. Этот набор гладких строф, пересыпанных намеками на мифологические сюжеты, мог быть равно обращен ко всем знаменитым поэтессам всех времен – от Сафо и до наших дней.

Лорду Нельвилю уже наскучило это пустословие; ему стало казаться, что он сам, только взглянув на Коринну, сумел бы нарисовать более верный ее портрет, более правдивый, более точный, – одним словом, портрет, по-настоящему похожий на Коринну.

Глава вторая

Слово взял князь Кастель-Форте, и все слушали его с большим вниманием. Это был человек лет пятидесяти, и осанка его и манера говорить были сдержанны и полны достоинства; его возраст и уверенность, что он не больше чем друг Коринны, позволили Освальду выслушать его речь спокойно и с интересом. Не будь этого, Освальд бы начал уже ощущать смутную ревность к нему.

Князь Кастель-Форте прочитал несколько страниц, написанных прозой, без претензий, но создающих очень верное представление о Коринне. Прежде всего он отметил одно особое достоинство ее произведений, которым она была отчасти обязана серьезному изучению иностранных литератур. Коринна, сказал он, в совершенстве объединяет в себе мастерство художника, рисующего роскошными красками блестящие картины жизни Юга, с глубоким знанием человеческого сердца, – знанием, скорее присущим поэтам северных стран, где быт и природа не дают много пищи для души и ума. Он хвалил приветливость Коринны, ее веселость, не имеющую ничего общего с насмешливостью, но проистекающую единственно из живости ума и свежести воображения; он пытался также воздать должное ее тонкой способности чувствовать, но легко можно было догадаться, что к этим его словам примешивалась какая-то тайная грусть. Он сетовал на то, как трудно выдающейся женщине встретить человека, чей идеальный образ она сама создала себе, человека, наделенного всеми дарами, о которых только могут мечтать сердце и гений. Однако он с удовлетворением говорил о том, какое горячее чувство вызывает в душе читателя поэзия Коринны, с каким искусством она умеет найти соответствие между красотой природы и самыми глубокими переживаниями человека. Он указывал на оригинальность поэтических образов Коринны, порожденных исключительно своеобразием ее характера, лишенного и тени аффектации, которая могла бы нарушить их естественное, непринужденное очарование.

Он говорил о ее красноречии, об этой могучей силе, которая увлекает тем сильнее, чем большим умом и душевной отзывчивостью обладают ее слушатели.

– Коринна, – сказал он, – без сомнения, самая знаменитая женщина в нашей стране; и все-таки лишь ее друзья могут нарисовать ее портрет, ибо душевные качества, если они только истинны, нуждаются в том, чтобы их разгадали; яркий блеск славы, так же как и сумрак безвестности, могут помешать их распознать, если на помощь не придет зоркий глаз друга.

Он пространно рассуждал о ее искусстве импровизации, которое ничуть не походит на то, что обычно называют этим именем в Италии.

– Это искусство Коринны, – продолжал он, – можно объяснить не только щедростью ее таланта, но тем глубоким волнением, какое в ней возбуждают все благородные идеи; стоит ей только коснуться в разговоре предмета, напоминающего о них, как она загорается восторгом, вдохновение увлекает ее и в душе ее открываются неисчерпаемые источники мыслей и чувств.

Князь Кастель-Форте обратил также внимание слушателей на стиль Коринны, всегда безупречно чистый и гармонический.

– Поэзия Коринны, – прибавил он, – это музыка ума, единственно способная передать прелесть тончайших, неуловимых впечатлений.

Далее он хвалил умение Коринны вести занимательную беседу – заметно было, что он сам обрел в ней отраду.

– Блеск воображения и простота, точность суждения и душевная пылкость, сила и мягкость, – сказал он, – объединены в одном лице и непрестанно дарят нам все новые духовные наслаждения; к Коринне можно применить чудесный стих Петрарки:

Il parlar che nell'anima si sente²[12], —

я бы сказал также, что она обладает прославленными восточными чарами, которые древние приписывали Клеопатре.

— Места, которые мы с ней посетили, — продолжал князь Кастель-Форте, — музыка, которую мы вместе с ней слушали, картины, которые она научила меня видеть, книги, которые она научила меня понимать, составляют целый мир, и он живет в моем воображении. Во всех этих созданиях искусства пылает искра ее жизни, и, доведись мне жить от нее в отдалении, я бы окружил себя ими, потому что — я это знаю — только среди них я бы смог отыскать огненный след, оставленный ею. Да, — прибавил он, и взор его случайно упал на Освальда, — глядите на Коринну, если вы сможете провести с ней вашу жизнь и продлить на долгие годы то вдохновенное существование, которое она вам даст; но не глядите на нее, если вам суждено ее покинуть; до конца ваших дней тщетно вы будете искать другую, столь же творческую натуру, способную разделить и умножить ваши чувства и мысли: вы не найдете ее никогда.

Освальд вздрогнул при этих словах; взгляд его остановился на Коринне, которая слушала князя с волнением, вызванным отнюдь не честолюбием, а иным, более нежным и трогательным чувством. Князь Кастель-Форте возобновил свою речь, прерванную минутой умиления; он стал говорить о талантах Коринны к живописи, музыке, декламации, танцам, он сказал, что во всех этих видах искусства живет сама Коринна, что она не ограничивает себя какой-нибудь единой манерой, не подчиняет себя никаким правилам, но всегда — хотя и на языке различных искусств — передает все то же очарование, проявляет все ту же мощь своего воображения.

— Я не льщу себя надеждой, — заключил князь Кастель-Форте, — что мне удалось обрисовать облик женщины, о которой нельзя составить себе представление, доколе не услышишь ее; но пребывание ее в Риме равносильно для нас счастью, какое дарит нам наше ослепительное солнце, наша животворная природа. Коринна связывает между собою своих друзей; в ней смысл и цель нашей жизни; мы уповаем на ее доброту, мы гордимся ее гением; мы говорим чужестранцам: «Взгляните на нее, она олицетворение нашей прекрасной Италии; она то, чем бы мы были, когда бы не знали невежества, зависти, раздора и лени, на которые обрекла нас судьба». Мы любим ее как чудесным созданием нашего неба, наших искусств; она отпрыск нашего прошлого, провозвестница нашего будущего; и когда чужестранцы порочат страну, где воссиял свет знаний, озаривший Европу, когда они беспощадно клеймят наши проступки, порожденные нашими бедствиями, мы говорим им: «Взгляните на Коринну!» Да, мы последовали бы по ее стопам, мы стали бы такими же великими, как она, — если бы мужчины были способны, как женщины, носить целый мир в своем сердце, если бы мы не зависели от социальных условий и внешних обстоятельств и могли всецело отдаться служению яркому светочу поэзии.

Когда князь Кастель-Форте умолк, раздались единодушные рукоплескания; и хотя в конце его речи прозвучало косвенное осуждение современного положения Италии, все высокие сановные лица одобрили ее: именно в Италии встречается такого рода свободомыслие, которое не посягает на государственные установления, но прощает выдающимся умам спокойную оппозицию господствующим предрассудкам.

Князь Кастель-Форте пользовался доброй славой в Риме. В своих речах он обнаруживал редкую проницательность, и это было замечательным даром в стране, где вкладывают больше ума в действия, чем в рассуждения. Он был лишен той изворотливости в делах, какая часто бывает свойственна итальянцам, но любил размышлять и не боялся утомлять себя умственной работой. Беспечные обитатели Юга иногда отказываются от нее и похваляются, что могут все постигнуть лишь силою своего воображения, подобно тому как их благодатная земля приносит плоды без предварительной обработки, лишь милостью Неба.

² Язык, который слышишь в глубине души (*int.*).

Глава третья

Как только князь Кастель-Форте кончил свою речь, Коринна встала; она поблагодарила его благородным и мягким наклоном головы, выражающим одновременно и скромность, и естественную радость искренней похвале. Поэт, которого венчали лаврами на Капитолии, должен был по существовавшему обычаю продекламировать или же прочитать экспромтом какой-нибудь стихотворный отрывок. Коринна попросила принести ей лиру, свой любимый инструмент, весьма похожий на арфу, однако более античной формы и более простой по звучанию. Когда она стала настраивать лиру, ею вдруг овладело величайшее смущение, и она дрожащим голосом попросила назначить ей тему. «Слава и счастье Италии!» – закричали все в один голос.

– Хорошо, – сказала она, уже почувствовав прилив вдохновения, – «Слава и счастье Италии!»

И, загоревшись любовью к родине, она произнесла стихи, полные чарующей силы, о которой проза может дать лишь самое слабое представление.

Импровизация Коринны на Капитолии

Италия, страна солнца! Италия, владычица мира! Италия, колыбель науки, приветствую тебя! Сколько раз человеческий род покорялся тебе, сложив оружие к твоим ногам, преклонив колена перед твоими искусствами и твоими небесами!

Один из богов покинул Олимп, чтобы найти приют в Авзонии^[13]; в этой стране воскресли мечты о золотом веке, и люди там казались чересчур счастливыми, чтобы их можно было заподозрить в преступлениях.

Рим завоевал себе вселенную с помощью своего гения и стал властелином, опираясь на свободу. Римский характер наложил отпечаток на весь мир, и набеги варваров, разорив Италию, погрузили во тьму невежества всю вселенную.

Италия возродилась вновь, когда греки, искавшие в ней убежища, принесли с собой свои божественные сокровища^[14]; небо сообщило ей свои законы; отвага ее сыновей открыла новое полушарие^[15]; она снова стала повелительницей, собрав под своим скипетром великих мыслителей, но лавры, увенчавшие их, породили толпы завистников!

Искусство вернуло Италии утраченную власть над миром. Художники и поэты сотворили для нее Олимп и землю, небо и ад; но не нашлось в Европе Прометея, который дерзнул бы похитить огонь, горящий в груди Италии, хранимый ее гением более ревностно, чем богом язычников.

О, зачем вы привели меня на Капитолий? зачем вы хотите возложить венок на мое смиренное чело, – венок, который носил Петрарка, который до сих пор висит на кипарисе у могилы Тассо? Зачем... да затем, что вы чтите славу своей родины, о мои сограждане! и вы награждаете поэта равно за его служение Италии, как и за его талант.

Итак, если вам дорога слава нашей родины, столь часто избирающей свои жертвы среди победителей, ею же увенчанных, оглянитесь с гордостью на минувшие века возрождения искусств. Вспомните Данте, этого Гомера новейшей эпохи, поэта, посвященного в таинства нашей религии, героя и

мыслителя: этот гений погрузился в подземные воды Стикса, и душа его стала глубокой, как бездны, описанные им.

В творении Данте воскресла вся Италия времен ее могущества. Пылая духом республиканских свобод, воин и вместе поэт, он возжег огонь борьбы в сердцах мертвых, и тени стали жить более полной жизнью, чем даже люди наших дней.

Воспоминания о земле преследуют усопших и за гробом, неутихшие страсти бушуют и там в их груди; их гложет мысль о минувшем, которое им кажется не столь непреложным, как их будущее, вечное будущее.

Можно смело сказать, что изгнанник Данте перенес в страну своего воображения все муки, терзавшие его. Тени беспрестанно спрашивают его о судьбах живых, подобно тому как он сам спрашивает о своей родине; и ад ему тоже мнится местом изгнания.

Все в его глазах облачено в одежды Флоренции. Тени, восставшие из глубины древности, напоминают собой тосканцев, его земляков, но это не значит, что ум его ограничен, напротив, мощью своего духа он замкнул все мироздание в круг своей мысли.

Мистическая цепь кругов и сфер ведет Данте из ада в чистилище, из чистилища в рай; повествуя с точностью историка о своих видениях, он заливают ярким светом самые темные уголки вселенной, и мир, сотворенный им в трехчастной поэме, исполнен жизни и блеска, словно новая планета, замеченная на небосклоне.

При одном звуке голоса Данте все на земле преобразается в поэзию; предметы, идеи, законы и явления природы словно становятся новым Олимпом, населенным новыми богами; но мифы, рожденные его фантазией, исчезают, подобно мраку язычества при виде рая, этого океана света, блестящего звездами, лучами, добродетелями и любовью.

В магических стихах величайшего нашего поэта точно в призме преломились чудеса целого мира, то противостоя друг другу, то вновь сочетаясь; звук принял окраску, а краски слились в гармонию звуков; рифма, звучная или необычно приглушенная, стремительная или протяжная, была внушена поэту его даром прозрения; это вершина искусства, торжество гения, проникшего в тайные связи природы и человеческого сердца.

Данте надеялся, что появление его поэмы положит конец его ссылке; он полагал, что слава станет его заступницей, но слишком рано умер, чтобы пожинать лавры в своем отечестве. Нередко превратности судьбы подрывают в корне хрупкую жизнь человека: пусть даже слава осенила его своим крылом, пусть он успел причалить к желанному берегу, – близ спасительной гавани уже разверзлась могила и многоликий рок приходом запоздалого счастья возвещает наступление смертного часа.

Так было и со злосчастным Тассо; ваши хвалы, о римляне, должны были принести ему утешение за столько несправедливо причиненных обид; прекрасный, чувствительный, великодушный Тассо, поэт, мечтавший о подвигах, воспевавший любовь, разбившую ему сердце^[16], уже приближался благоговейно и благодарно к этим стенам, подобно его героям, приближавшимся к стенам Иерусалима^[17]. Но накануне дня его торжества смерть призвала Тассо на свой страшный пир; небо ревнует к земле и требует к себе своих любимцев, прочь от потока времени с его обманчивыми берегами.

В век более гордый и вольный, чем век Тассо, Петрарка, как и Данте, был мужественным певцом независимости Италии. В других странах была лишь известна история его великой любви; но иные, более суровые подвиги навеки прославили его имя среди нас^[18], ибо родина вдохновляла его больше, чем сама Лаура. В часы ночных трудов он воскрешал мир античности: воображение поэта не мешало его важным занятиям и, открывая ему грядущее, позволяло проникнуть в тайны минувших столетий. Он испытал на собственном опыте, что ученость способствует поэтическому творчеству, и самобытный гений его, подобно Предвечным Силам, обнимал собой все века.

Наш прозрачный воздух, наш радостный климат вдохновляли Ариосто. После стольких изнурительных войн он появился на нашем небосклоне точно радуга; блестящий, многоцветный, подобный этой предвестнице ясной погоды, он, казалось, шутил с жизнью, и светлая, кроткая его веселость скорее напоминала простодушную улыбку природы, чем тонкую насмешку человека.

Микеланджело, Рафаэль, Перголези^[19], Галилей и вы, бесстрашные путешественники, жадно ищущие новых земель, хоть природа нигде не может показать вам ничего прекраснее, чем ваша земля, – присоедините и ваши славные имена к именам великих поэтов! Художники, ученые, философы! Вы, подобно им, дети солнца: оно зажигает вашу фантазию, дает пищу уму, вселяет в душу отвагу, покоит вас в счастливые дни, все обещает и все помогает забыть.

Знаком ли вам тот край, где цветут апельсины, любовно взращенные лучами солнца? Внимали ли вы нежной мелодии, поющей о сладости наших ночей? Вдыхали ли вы роскошное благоухание нашего чистого, теплого воздуха? Скажите, о чужестранцы! прекрасна ли и благодатна ли природа вашей родины?

Когда всенародное бедствие обрушивается на другие страны, люди почитают себя там покинутыми Богом; но мы всегда ощущаем покровительство Небес, мы видим, что Они пекутся о нас и полны милости к нам, как к благородным созданиям.

Земля наша богата не только виноградом и хлебными злаками: как на царском пиру, она осypтает путь человека цветами и множеством великолепных растений – бесполезных, но которые созданы услаждать его взор и не унижаются до служения ему.

Итальянцы достойны тех невинных радостей, какие предлагает им природа: они довольствуются самыми простыми яствами, никогда не опьяняются вином, которое у них в изобилии; они любят свое солнце, свое искусство, свои памятники, свою страну, такую древнюю и в то же время вечно юную. Они не соблазняются ни изощренными удовольствиями высокомерной знати, ни грубыми забавами алчной черни.

Здесь чувство живет в ладу с мыслью, жизнь близка к своим истокам, и душа, словно воздух, парит в пределах, обозначенных небом и землей. Здесь гению привольно – сама природа полна тихой задумчивости; если он встревожен, она успокаивает его; если он грустит о несбывшихся мечтаниях, она дарит ему тысячи новых иллюзий; если люди гонят его, она открывает ему свои объятья.

Так природа всегда утешает в невзгодах, ее ласковая рука исцеляет все недуги. Здесь можно исцелить даже сердечные раны. Преклонившись

перед милосердием Творца, человек постигает тайну Его любви к людям, и преходящие печали нашей краткой жизни тонут в необъятном плодоносном лоне бессмертной вселенной.

Коринну на несколько минут прервали бурные аплодисменты. Один только Освальд не принял участия в этих шумных выражениях восторга. Когда Коринна сказала: «Здесь можно исцелить даже сердечные раны», он опустил голову на руку и так и остался в этой позе. Она заметила Освальда и по его чертам, цвету волос, высокому росту, костюму, по манере держаться тотчас признала в нем англичанина. Глубокая печаль, отражавшаяся на его лице, и траур, который он носил, ее очень тронули. В его взгляде, устремленном на нее, казалось, таился нежный упрек; она догадалась, какие мысли его занимали, и, желая сделать ему приятное, решила больше не говорить о счастье и благоденствии, но посвятить несколько минут своего блистательного праздника рассуждениям о смерти. С этим намерением она снова взяла в руки свою лиру, двумя-тремя протяжными, меланхолическими аккордами заставила умолкнуть все собрание и продолжала:

Правда, бывают горести, которые не проходят даже под нашим милосердным небом; но где, в каком краю скорбь может быть более мягкой и более светлой, чем у нас?

В других землях людям тесно, в непрерывной погоне за удовлетворением своих ненасытных желаний они не находят себе достаточно места; у нас же, посреди руин, пустырей, необитаемых дворцов, остается так много пространства для теней. Разве Рим в наше время не превратился в царство гробниц?

Колизей, обелиски, чудесные сокровища искусств, привезенные из Египта и Греции или дошедшие до нас из глубины нашей истории – от Ромула и до Льва Десятого^[20], – все это собрано здесь, словно величие манит к себе величие, словно все, что человек хочет спасти от сокрушительной силы времени, должно быть заключено в одном месте. И все эти дивные произведения искусства стали памятниками минувшего. Наша бездеятельная жизнь протекает незаметно, но молчание живых – знак уважения мертвым; наша жизнь быстротечна, их жизнь длится вечно.

Только их имена мы окружаем почетом, только они у нас известны; наше тусклое существование придает еще больше блеска славе наших предков; мы оберегаем лишь то, что связано с нашим прошлым, все споры смолкают, когда речь заходит о нем. Все наши шедевры созданы теми, кого уже нет, и мнится, сам гений отошел в царство знаменитых покойников.

Быть может, одно из таинственных очарований Рима кроется именно в том, что здесь воображение наше примиряется с вечным сном. Здесь люди привыкают покоряться судьбе и не столь горько оплакивают тех, кого любили. Народы Юга рисуют себе конец жизни не в таких мрачных красках, как жители Севера. Солнце, подобно славе, согревает даже могилу.

Под нашим прекрасным небом, подле множества погребальных урн, холод одинокой гробницы не так пугает робкие души; при мысли о том, что нас поджидает толпа великих теней, переход из нашего уединенного города в город мертвых уже не кажется столь страшным.

Вот почему здесь смягчается самая нестерпимая боль утраты; это не значит, конечно, что наши сердца очерствели, а души иссохли; но, дыша благоуханным воздухом, мы чувствуем совершенную гармонию, царящую в мире, и без боязни предаемся природе, о которой Творец наш сказал: «Лилии

не трудятся, не прядут, а все же какой царский наряд может сравниться с великолепием, в которое я их облек?»^[21]

Освальд был восхищен последними строфами и так живо выразил свой восторг, что превзошел на сей раз самих итальянцев. И в самом деле, вторая часть импровизации Коринны скорее предназначалась ему, чем римлянам.

Итальянцы обычно читают стихи нараспев. Эта плавная, певучая манера, приближающаяся к кантилене, отнимает у поэтической речи ее выразительность. Интонация, лучше слов раскрывающая сокровенный смысл стиха, придает чтению монотонный характер, если она остается неизменной. Но декламация Коринны была так богата разнообразными оттенками, не нарушавшими, однако, строгой гармонии стиха, что казалась многоголосой музыкой, каким-то небесным оркестром.

Нежный и проникновенный голос Коринны, произносивший стихи на звучном и торжественном итальянском языке, произвел на Освальда совершенно новое для него впечатление. Английская просодия звучит однообразно и приглушенно; ее естественная красота меланхолична; ее краски сотканы из облаков; ее модуляция навеяна рокотом волн; но когда итальянские слова, сверкающие, как праздничный день, звучащие, как победные фанфары, подобно багрянцу среди других цветов, когда итальянские слова, трепещущие радостью, которую лучезарное небо вливает в сердце, произносятся голосом, полным глубокого чувства, тогда блеск этих слов, смягчающий их напряженную силу, нас приводит в волнение, столь же неожиданное, как и живое. В таких случаях можно подумать, что природа обманулась в своих замыслах, ее благодеяния оказались ненужными, ее дары – отвергнутыми; мотивы горя, прозвучавшие среди веселья, изумляют и трогают сильнее, чем печаль, высказанная на языках Севера, казалось бы вдохновенных ею.

Глава четвертая

Сенатор взял в руки венок из миртов и лавров, готовясь возложить его на голову поэтессы. Коринна сняла шаль, обвивавшую ее лоб, и черные, как вороново крыло, волосы рассыпались по ее плечам. Она приподняла свою непокрытую голову, и взгляд ее засветился удовольствием и благодарностью, которые она и не думала скрывать. Она вторично опустилась на колени, чтобы принять венок, но уже не казалась смущенной и трепещущей: она только что выступала, сердце ее было полно возвышенных чувств, воодушевление победило ее робость. Это уже была не боязливая женщина, а вдохновенная жрица, радостно посвящающая себя служению искусству.

Когда венок был возложен на ее голову, музыка заиграла торжественный гимн, который с такой могущественной силой восхищает и поднимает душу. Гром литавров и фанфар снова взволновал Коринну; на глазах у нее показались слезы; на минуту она опустилась в кресло и закрыла лицо платком. Освальд, тронутый до глубины души, вышел из толпы и сделал несколько шагов, намереваясь заговорить с ней; но непобедимое замешательство овладело им. Коринна некоторое время глядела на него, стараясь, однако, чтобы он не заметил, что привлек ее внимание; но когда князь Кастель-Форте предложил ей руку, чтобы отвести ее с Капитолия к колеснице, она пошла с ним в рассеянности и под разными предложениями несколько раз оборачивалась и бросала взгляд на Освальда.

Он последовал за ней; и в ту минуту, когда, сопровождаемая своей свитой, она оглянулась, чтобы увидеть его еще раз, венок упал у нее с головы. Освальд кинулся за ним и, подавая его Коринне, сказал несколько слов по-итальянски, означавших, что простые смертные кладут к ногам божества венок, который они не смеют возложить на его голову^[22]. Каково же было изумление Освальда, когда она поблагодарила его по-английски с чистейшим акцентом уроженки Британских островов, почти недоступным жителям континента! Он остановился как вкопанный и в смятении облокотился на одного из базальтовых львов, расположенных у основания лестницы, ведущей на Капитолий. Коринна, пораженная его волнением, снова внимательно взглянула на него; но ее уже увлекли к колеснице, и толпа исчезла задолго до того, как Освальд очнулся и собрался с мыслями.

До этой минуты Коринна была в его глазах прелестнейшей иностранкой, одним из чудес той страны, которую он собирался объехать; но ее английское произношение вызвало в нем воспоминание об отечестве и придало ее очарованию что-то близкое и родное. Была ли она англичанка? Провела ли она много лет в Англии? Он не мог это угадать; но не могла же она в таком совершенстве изучить английский язык в Италии. Кто знает, не были ли их семьи связаны между собою? Может быть, он даже видел ее в детстве? Часто человек бессознательно носит в душе дорогой ему образ и при первой встрече с любимой готов поклясться, что видел ее когда-то очень давно.

У Освальда было много предубеждений против итальянок: он считал их пылкими, однако переменчивыми, неспособными на глубокую и длительную привязанность. Но то, что Коринна говорила на Капитолии, поколебало его мнение; а что было бы, если бы он обрел в ней одновременно и воспоминание о своей родине, и новую жизнь, полную поэзии, если бы он смог возродиться для будущего и не порывать со своим прошлым?

Погруженный в свои мечтания, Освальд очутился на мосту Святого Ангела, ведущем к замку того же имени, вернее, к гробнице Адриана, перестроенной в крепость^[23]. Молчание, царившее вокруг, тусклые воды Тибра, лунные лучи, озарявшие статуи на мосту, которые казались бледными призраками, созерцающими течение волн и течение времени, не коснувшегося их, – все это вернуло Освальда к его привычным думам. Он нащупал рукой портрет отца, который всегда носил на своей груди, и, вынув его, долго рассматривал; только что испытанное им

ощущение счастья и повод, его вызвавший, слишком живо напомнили Освальду о том чувстве, которое некогда заставило его провиниться перед отцом. Угрызения совести с новою силой заговорили в нем.

– О неизбывная печаль моей жизни! – вскричал он. – Друг мой, столь тяжело мной оскорбленный и при этом столь великодушный! Мог ли я думать, что мечта о блаженстве так скоро найдет доступ к моей душе? Нет, ты не станешь укорять меня в этом, о лучший и снисходительнейший из людей! Ведь ты хочешь, чтобы я был счастлив, ты этого хочешь, несмотря на мои прегрешения перед тобой! О, если бы я мог хоть услышать твой голос с небес, которому не внимал, когда ты жил на земле!

Книга третья

Коринна

Глава первая

Граф д'Эрфейль тоже был на празднике на Капитолии; на другой день, зайдя к лорду Нельвилю, он сказал ему:

– Дорогой Освальд, хотите, я поведу вас сегодня вечером к Коринне?

– Как! – прервал его Освальд. – Вы с нею знакомы?

– Нет, – ответил граф д'Эрфейль, – но столь знаменитой особе всегда бывает лестно, когда хотят ее видеть, и я написал ей нынче утром письмо, прося позволения посетить ее сегодня вечером вместе с вами.

– Я предпочел бы, – заметил, покраснев, Освальд, – чтобы вы не называли моего имени без моего разрешения!

– Поблагодарите меня за то, что я избавил вас от скучных формальностей! – возразил граф д'Эрфейль. – Вместо того чтобы пойти к посланнику, который повел бы вас к кардиналу, а тот – к какой-нибудь знатной даме, которая ввела бы вас в дом к Коринне, я представлю ей вас, вы представите ей меня, и отличный прием обеспечен нам обоим.

– Я не столь самонадеян, как вы, и имею на то основание, – произнес лорд Нельвиль. – Я опасаюсь, как бы такая поспешность не вызвала неудовольствия Коринны.

– Ничуть не бывало, уверяю вас, – сказал граф д'Эрфейль, – она слишком умна для этого и очень любезно мне ответила.

– Как! она вам ответила? – воскликнул лорд Нельвиль. – И что же она вам написала, дорогой граф?

– Ого! уже дорогой граф! – смеясь, подметил граф д'Эрфейль. – Вы сменили гнев на милость, как только узнали, что Коринна ответила мне! Но в конце концов, «я вас люблю, и все прощено!». Должен признаться, что в своем письме я больше говорил о себе, чем о вас, но сдается мне, что она в ответном письме назвала ваше имя раньше моего; впрочем, я никогда не завидую моим друзьям...

– Разумеется, – молвил лорд Нельвиль, – я не думаю, чтобы кто-нибудь из нас мог льстить себя надеждой понравиться Коринне; что до меня, то единственно, чего я желаю, это изредка наслаждаться обществом такой удивительной женщины. Итак, до вечера, уж если вы все так устроили!

– Значит, вы едете со мной? – спросил граф д'Эрфейль.

– Ну да! – ответил лорд Нельвиль в явном смущении.

– Тогда почему же, – спросил граф д'Эрфейль, – вы так негодовали на то, что я принял этот шаг? вы кончаете тем, чем я начал; но вам угодно было проявить большую сдержанность, чем я, тем более что вы ничего от этого не потеряли! А Коринна действительно прелестное создание: так умна, так привлекательна! Я не очень хорошо понял, что она там говорила, но, судя по ее виду, готов биться об заклад, что она превосходно говорит по-французски. Впрочем, мы это узнаем сегодня вечером. Она ведет весьма странный образ жизни: молода, богата, свободна, но нельзя с уверенностью сказать, есть ли у нее любовник или нет. Однако сейчас она, кажется, никому не отдает предпочтения; впрочем, – прибавил он, – если она не может встретить здесь человека достойного ее, меня это ничуть не удивляет!

Граф д'Эрфейль продолжал еще некоторое время болтать в том же духе, не получая от Освальда никакого ответа. Хотя в словах графа д'Эрфейля и не было ничего непристойного,

развязный и легкомысленный тон, каким он всегда говорил о том, что глубоко затрагивало его собеседника, задевал тонкую чувствительность Освальда. Бывает такого рода душевная деликатность, которой не могут научить ни ум, ни привычка к светскому обществу; и как часто можно ранить сердце, не нарушая при этом строгих правил приличия!

Весь день лорд Нельвиль не мог успокоиться, думая о предстоящем визите к Коринне; он старался отгонять тревожные мысли, силясь уверить себя, что можно найти отраду и в чувстве, которое не решает судьбу всей жизни. Обманчивая уверенность! ведь нам не доставляет радости чувство, которое мы сами считаем недолговечным.

Лорд Нельвиль и граф д'Эрфейль подъехали к дому Коринны, расположенному на Транстеверинской стороне^[24], немного поодаль от замка Святого Ангела. Вид на Тибр придавал особую прелесть этому дому; внутреннее убранство его отличалось величайшим изяществом. Зал украшали гипсовые слепки со знаменитейших итальянских статуй: Ниобеи, Лаокоона, Венеры Медицейской, Умиряющего гладиатора; в кабинете, где обычно проводила время Коринна, было много книг, различных музыкальных инструментов; простая, но покойная мебель была расставлена так, что располагала к непринужденной дружеской беседе. Коринна еще не вышла, и в ожидании ее прихода Освальд в сильном волнении ходил взад и вперед по комнате; в любой мелочи ее обстановки он примечал счастливое сочетание наиболее привлекательных особенностей французской, английской и итальянской наций: общительность, любовь к наукам, развитое чувство изящного.

Наконец появилась Коринна: наряд ее был незатейлив, но живописен. В волосах ее прятались античные камеи, на шее было надето коралловое ожерелье. Радужная манера, с какой она встретила гостей, была исполнена свободы и достоинства; богиню вчерашнего торжества на Капитолии можно было узнать даже в ее домашнем кругу, хоть она и держалась как нельзя более просто и естественно. Она приветствовала первым графа д'Эрфейля, но глядела в это время на Освальда; затем, словно устыдившись несвойственного ей притворства, приблизилась к Освальду; имя лорда Нельвиля явно производило на нее особенное действие: голос ее дрожал, когда она дважды его произнесла, словно оно вызывало в ней какие-то волнующие воспоминания.

Наконец Коринна в нескольких любезных словах поблагодарила по-итальянски Освальда за услугу, которую он ей вчера оказал, подняв упавший с ее головы венок. С трудом подбирая слова, он попытался выразить ей свое восхищение и мягко посетовал на то, что она не говорит с ним по-английски.

– Разве сейчас я более чужд вам, чем вчера? – спросил он.

– Конечно нет! – ответила Коринна. – Но когда человек, подобно мне, много лет говорит на нескольких языках сразу, он всегда выбирает из них тот, который более соответствует чувству, владеющему им в данную минуту.

– Но, очевидно, родной ваш язык английский, тот язык, на котором вы беседуете с друзьями, тот...

– Я итальянка! – прервала его Коринна. – Простите меня, милорд, но мне кажется, что я замечаю в вас то национальное высокомерие, каким столь часто отличаются ваши соотечественники! Мы, итальянцы, более скромны: мы не так самодовольны, как французы, и не так надменны, как англичане. От иностранцев мы ждем лишь немного снисходительности; но мы давно уже утратили право считаться нацией и нередко грешим тем, что в частной жизни не проявляем того достоинства, в котором нам отказано как народу; впрочем, когда вы поближе узнаете итальянцев, вы увидите, что в их характере и поныне сохранились черты древнего величия, черты не слишком заметные, встречающиеся не часто, но которые могли бы возродиться при более счастливых обстоятельствах. Иногда я буду разговаривать с вами по-английски, но не всегда; итальянский язык мне дорог; я много выстрадала, – сказала она, вздохнув, – чтобы иметь возможность жить в Италии.

Тут в разговор вмешался граф д'Эрфейль и стал почтительно укорять Коринну в том, что она совсем забыла о нем, говоря на непонятном ему языке.

– Прекрасная Коринна! – взмолился он. – Сделайте милость! говорите по-французски! вы этого поистине достойны!

Коринна улыбнулась при этом комплименте и заговорила по-французски – очень чисто, весьма бегло, но с английским произношением. Лорд Нельвиль и граф д'Эрфейль оба равно удивились; а граф д'Эрфейль, полагавший, что говорить можно решительно обо всем, лишь бы это было сказано с приятностью, и не подозревавший, что можно быть неучтивым не только по форме, но и по сути, напрямик спросил Коринну, чем объясняется подобная странность. При этом неожиданном вопросе она сперва немного растерялась; потом, оправившись от минутного смущения, ответила:

– Очевидно, граф, это объясняется тем, что французскому языку меня обучал англичанин.

Он засмеялся, но продолжал настойчиво допрашивать ее. Приходя все в большее замешательство, она сказала ему наконец:

– Вот уже четыре года, граф, как я поселилась в Риме, и никто из друзей моих, из тех, кто – я верю этому – принимает во мне искреннее участие, не допытывается у меня о моей судьбе; они сразу поняли, что мне было бы тягостно говорить об этом.

Эти слова заставили графа д'Эрфейля прекратить свои расспросы. Но у Коринны мелькнула мысль, не обидела ли она его, и она постаралась быть с ним как можно любезнее; не отдавая себе отчета, она опасалась, как бы граф, очевидно весьма близкий к лорду Нельвилю, не отозвался бы дурно о ней своему другу.

В это время приехал князь Кастель-Форте в сопровождении нескольких римлян – друзей своих и Коринны. Все это были люди с живым, игривым умом, очень приятные в общении; они так легко воодушевлялись в общем разговоре, так быстро отзывались на все достойное внимания, что беседовать с ними доставляло величайшее удовольствие. Беспечные итальянцы нередко ленятся выказывать в обществе свой прирожденный ум; но, находясь и в уединении, они большей частью не развивают своих умственных способностей; зато они с наслаждением пользуются тем, что дается им без труда.

В Коринне было много юмора: она подмечала смешные черточки людей с проницательностью француженки и умела изображать их с живостью итальянки. Но во всех ее шутках чувствовалась сердечная доброта: в них не было ничего злонамеренного и язвительного; ведь ранит лишь холодная насмешливость, а веселая игра воображения, напротив, почти всегда добродушна.

Освальд находил в Коринне бездну обаяния, и совершенно нового для него обаяния. Самые важные и трагические обстоятельства его жизни были связаны с воспоминаниями об одной очень изящной и остроумной француженке, но Коринна ничем не напоминала эту женщину; речи ее обличали разносторонний ум; в них проявлялись и восторженная любовь к искусствам, и знание света, тонкость понимания и глубина чувств; при всей непосредственной живости ее натуры, придававшей ей немало прелести, ее суждения никак нельзя было назвать необдуманными и поверхностными.

Освальд был изумлен и вместе с тем очарован, одновременно встревожен и восхищен; он не мог постигнуть, как в одном человеке совмещалось все, чем обладала Коринна; он спрашивал себя: говорит ли сочетание столь противоположных черт в характере Коринны о непостоянстве или же о совершенстве; он недоумевал: что позволяло Коринне – способность ли полностью отдаваться впечатлениям минуты или же умение немедленно все забывать, – что позволяло ей почти мгновенно переходить от грусти к радости, от задумчивости к резвости, от беседы, поражающей обширными познаниями и зрелыми мыслями, к кокетству женщины,

которая хочет нравиться и умеет пленять! Но и в кокетстве ее было так много благородства, что оно внушало не меньше почтения, чем самая строгая сдержанность.

Князь Кастель-Форте был целиком поглощен Коринной; все итальянцы, составлявшие ее общество, выражали ей свои чувства неусыпными заботами и нежными знаками внимания: постоянное поклонение, каким они ее окружали, озаряло всю ее жизнь праздничным светом. Коринну радовало сознание, что она так любима, но это была радость человека, который живет в благодатном климате, слышит гармонические звуки и получает лишь приятные впечатления. Однако более серьезное и глубокое чувство, чувство любви, не отражалось на ее лице, всегда столь живом и выразительном. Освальд глядел на нее в молчании; его присутствие воодушевляло Коринну, внушало ей желание быть привлекательной. Однако она порой умолкала в самом разгаре блестящей беседы, пораженная наружным спокойствием Освальда, не зная, одобряет ли он ее или же втайне порицает и может ли человек с английским образом мыслей относиться благосклонно к шумным успехам женщины в обществе.

Освальд был слишком пленен Коринной, чтобы вспомнить свои былые суждения о том, что женщине приличествует держаться в тени; но он спрашивал себя, можно ли заслужить ее любовь? Может ли человек вместить в себе подобное счастье? Он был так ошеломлен и смущен, что, несмотря на ее учтивое приглашение посетить ее снова, провел весь следующий день у себя дома, не видя ее, испытывая какой-то страх перед чувством, которое им овладело.

Порою он сравнивал новое чувство с пагубным заблуждением своей ранней юности, но потом с негодованием отвергал это сравнение: ведь тогда он подпал под власть женщины, действовавшей с помощью хитрых, вероломных уловок, а искренность Коринны не вызывала и тени сомнения. В чем же заключалась ее притягательная сила? В ее волшебных чарах? В ее поэтическом вдохновении? Кто она – Армида или Сафо?^[25] Может ли он надеяться завоевать когда-нибудь этого гения с блистающими крыльями? Он никак не мог решить этот вопрос; во всяком случае было ясно, что не общество, а само Небо создало эту женщину, не способную ни подражать кому-либо, ни притворяться.

– Отец мой! – воскликнул Освальд. – Если бы ты увидел Коринну, что бы ты подумал о ней?

Глава вторая

На другое утро граф д'Эрфейль, по своему обыкновению, зашел к лорду Нельвилю; упрекнув его в том, что он не был накануне у Коринны, граф сказал:

– Вы получили бы большое удовольствие, если бы побывали у нее.

– Но почему же? – спросил Освальд.

– Потому что я вчера убедился, что она заинтересована вами!

– Опять это легкомыслие! – прервал его лорд Нельвиль. – Разве вы не знаете, что я не могу и не хочу даже думать об этом?

– Вы называете легкомыслием мою наблюдательность, – возразил граф д'Эрфейль, – но разве я менее рассудителен оттого, что все подмечаю быстрее, чем другие? Право, всем вам надобно было жить в блаженные времена библейских патриархов, когда человеку было отмерено не менее пятисот лет жизни, но уверяю вас, что наш век сократился по крайней мере на четыре столетия.

– Допустим, что вы правы, – ответил Освальд, – но что же открыли вы с помощью вашей наблюдательности?

– То, что Коринна вас любит. Вчера я пришел к ней; должен признаться, она меня превосходно приняла; но она не сводила глаз с дверей, выжидая, не последуете ли вы за мной. Некоторое время она пыталась говорить о чем-нибудь другом, но, так как нрав у нее очень живой и очень естественный, она кончила тем, что без обиняков спросила меня, почему вы не пришли вместе со мной? Я стал бранить вас, надеюсь, вы не будете на меня за это в обиде; я сказал, что вы мрачный нелюдим и чудак; но я умолчу о похвалах, какими я вас осыпал. «Он так печален, – сказала Коринна, – он, без сомнения, потерял дорогого ему человека. По ком же носит он траур?» – «По своем отце, сударыня, – отвечал я, – хотя прошло уже больше года после его смерти; но так как закон природы велит всем нам пережить своих родителей, то я думаю, что его давняя глубокая печаль вызвана другой, тайною причиной». – «О, – возразила Коринна, – я далека от мысли, что все люди одинаково переносят горечь утраты; отец вашего друга и друг ваш, может быть, возвышаются над общим уровнем: я очень склонна так думать». Эти слова, милый Освальд, она произнесла с такой нежностью...

– И вы из этого сделали вывод, будто я занимаю ее воображение! – перебил его Освальд.

– По правде сказать, – подхватил граф д'Эрфейль, – для меня этого довольно, чтобы увериться в том, что вы любимы; но, если вам этого мало, получайте больше: самое важное доказательство я приберег к концу. Пришел князь Кафель-Форте и, не подозревая, что он говорит о вас, начал рассказывать историю, которая случилась с вами в Анконе. Рассказывал он красноречиво и с огнем, насколько я могу судить об этом после двух уроков итальянского языка; впрочем, в иностранных языках столько французских слов, что можно почти все понимать, вовсе их не изучая. Притом все, чего я не понимал, я читал на лице Коринны. На нем так ясно отражалась ее сердечная тревога: она едва дышала, боясь пропустить хоть слово; когда она спросила, известно ли имя англичанина, волнение ее было столь велико, что легко можно было заметить, как она боится, что произнесут не ваше, а другое имя. Князь Кафель-Форте сказал, что он не знает, кто был этот англичанин, и Коринна, с живостью обернувшись ко мне, спросила: «Не правда ли, граф, это был лорд Нельвиль?» – «Да, сударыня, – отвечал я, – это был он». Тут Коринна разрыдалась. Она не плакала, когда слушала эту историю; но больше, чем самим рассказом, она была взволнована именем его героя.

– Она разрыдалась! – воскликнул лорд Нельвиль. – Ах, почему меня там не было?

Потом, внезапно умолкнув, он опустил глаза, и на его мужественном лице появилось выражение робости и смущения; он поспешил заговорить, боясь, как бы граф д'Эрфейль не нарушил его тайную радость, приметив ее.

– Если происшествие в Анконе стоит того, чтобы о нем рассказывали, – сказал он, – то ведь и вас можно назвать его героем, дорогой граф!

– В рассказе упоминался и один очень любезный француз, который был вместе с вами, милорд, – ответил, смеясь, граф д'Эрфейль, – но, кроме меня, никто не обратил внимания на эти мимоходом сказанные слова. Прекрасная Коринна предпочитает вас мне; очевидно, она считает, что из нас двоих более верным окажется вы; однако вы будете не лучше меня; и даже, может статься, причините ей больше огорчений, чем это сделал бы я, но женщины любят огорчения, лишь бы они были любовными; итак, ей подходите вы.

Лорда Нельвиля мучительно задевало каждое слово графа д'Эрфейля; но что мог он сказать ему? Граф никогда не возражал в споре, но никогда и не выслушивал другого настолько внимательно, чтобы изменить свое мнение; однажды высказав свое суждение, он им больше не интересовался, и лучше всего для его собеседника было забыть это суждение так же быстро, как забывал его сам д'Эрфейль.

Глава третья

Освальд пришел вечером к Коринне с совершенно новым чувством: он думал, что его, быть может, ждут. Как восхитительны первые минуты вспыхнувшего интереса друг к другу! Память еще не обольстила сердце надеждой, чувство не высказалось в словах, красноречие не выразило, чем живет душа, — но в этих первых кратких мгновениях, пока еще столь неясных и загадочных, есть нечто более упоительное, чем сама любовь.

Когда Освальд вошел в комнату Коринны, робость овладела им еще сильнее, чем обычно. Увидев, что она одна, он даже несколько огорчился: ему хотелось бы подольше наблюдать за ней в многочисленном обществе, чтобы каким-нибудь образом убедиться в ее расположении к нему, а сейчас, очутившись с ней с глазу на глаз, надобно было сразу начать разговор, и он боялся разочаровать Коринну, показавшись ей холодным из-за своей застенчивости.

То ли Коринна заметила душевное смятение Освальда, то ли сама была в таком состоянии, но, желая завязать беседу и рассеять неловкость, она поспешила спросить, познакомился ли он с какими-нибудь достопримечательностями Рима.

— Пока нет, — ответил Освальд.

— Что же вы делали вчера? — с улыбкой продолжала спрашивать Коринна.

— Я не выходил из дому, — сказал Освальд. — С того дня, что я в Риме, я видел только вас, сударыня, остальное время я проводил в одиночестве.

Коринна хотела было завести разговор о его мужественном поведении в Анконе.

— Вчера я узнала... — начала она, но, запнувшись, добавила: — Впрочем, я расскажу об этом позже, когда все соберется.

Освальд держался с таким достоинством, что Коринна невольно приходила в замешательство; к тому же она опасалась, что не сумеет скрыть своего волнения при упоминании о его великодушном поступке, и решила, что на людях она будет спокойнее. Освальда глубоко тронула сдержанность Коринны и то, как она простодушно выдала себя, но чем больше он сам смущался, тем труднее становилось ему выражать свои чувства.

Вдруг он неожиданно встал и приблизился к окну; потом, испугавшись, как бы это движение не удивило Коринну, молча вернулся на свое место и уже окончательно растерялся. Коринна чувствовала себя в разговоре увереннее, нежели Освальд, однако и она разделяла его смущение; стараясь овладеть собой, она в рассеянности положила пальцы на арфу, стоявшую с ней рядом, и, сама того не замечая, взяла несколько аккордов. Эти гармонические звуки еще больше взволновали Освальда, однако они, казалось, внушили ему немного храбрости. Он уже осмелился взглянуть на Коринну, а кто же мог смотреть на нее и не быть потрясенным божественным огнем, пылавшим в ее глазах? И быть может, ободренный выражением доброты, сиявшей в ее взоре, Освальд заговорил бы, если бы в эту минуту в комнату не вошел князь Кастель-Форте.

Что-то кольнуло его в сердце, когда он увидел лорда Нельвиля наедине с Коринной; но князь привык скрывать свои чувства; эта привычка, которая зачастую уживается у итальянцев с бурной страстностью, возникла у него вследствие беспечности и прирожденной мягкости его характера. Он примирился с тем, что не занимает первого места среди привязанностей Коринны; он был уже немолод, очень умен, большой поклонник искусства и наделен достаточно богатым воображением, чтобы уметь разнообразить свою жизнь, избегая при этом тревог и волнений; потребность проводить вечера у Коринны была в нем так велика, что, если бы она вышла замуж, он вымолил бы у ее супруга дозволение навещать ее ежедневно, как прежде; при таком условии князь не чувствовал бы себя несчастным, даже видя ее связанной с другим. Сердечные страдания в Италии не осложняются муками уязвленного самолюбия; там можно встретить весьма пылких людей, способных заколоть соперника кинжалом, и чрезвы-

чайно скромных, согласных довольствоваться второстепенной ролью подле женщины, с которой им приятно вести беседу; но там не встретишь никого, кто из боязни прослыть отвергнутым порвал бы дорогие ему отношения; тирании общественного мнения над самолюбием не существует в этой стране.

Когда общество, собиравшееся каждый вечер у Коринны, было в полном составе – в том числе и граф д'Эрфейль, – разговор зашел о таланте импровизации, который так блистательно обнаружила хозяйка дома на Капитолии; потом спросили у нее, что она об этом думает.

– Ведь так редко можно встретить человека, – сказал князь Кастель-Форте, – равно способного к поэтическому воодушевлению и к логическому анализу, человека с душою художника и в то же время умеющего наблюдать себя со стороны; поэтому мы вынуждены умолять Коринну открыть нам, если это возможно, секрет ее таланта.

– Дар импровизации, – ответила Коринна, – встречается среди народов Юга столь же часто, как среди других народов – блестящее ораторское красноречие или умение вести оживленную беседу в обществе. Я бы сказала даже, что, к сожалению, нам легче сочинять экспромтом стихи, чем говорить хорошей прозой. Стихотворная речь так сильно разнится от речи прозаической, что с первых же произнесенных строк внимание слушателей поглощено теми поэтическими оборотами, которые как бы проводят грань между сочинителем и аудиторией. Власть, какую приобрела над нами наша поэзия, можно объяснить не только певучестью итальянского языка, но и могучей вибрацией его звонких слогов. В итальянском языке есть какая-то пленительная музыкальность, при которой слова доставляют наслаждение одним своим звучанием, почти независимо от их смысла; к тому же слова эти сами по себе живописны: они рисуют то, о чем говорят. Нельзя не почувствовать, что этот мелодичный и яркий язык развивался под безоблачным небом и среди прекрасных произведений искусств. Вот почему в Италии легче, чем где-либо в другом месте, увлечь слушателей красотой слов, не блистающих ни глубиной мысли, ни новизной образов. Однако поэзия, как и все искусства, обращается не только к чувству, но и к разуму. О себе я смею сказать, что никогда не выступала с импровизацией стихов, не испытывая истинного душевного жара, не загоревшись новой для меня мыслью; и я надеюсь все же, что несколько менее, чем другие поэты, полагаюсь на волшебную власть нашего языка. Он может, если мне позволено так выразиться, уже с первых своих звуков доставить уху наслаждение лишь прелестью ритма и гармонии.

– Значит, вы думаете, – перебил Коринну один из ее друзей, – что дар импровизации повредил развитию нашей литературы? И я так полагал, пока не услышал вас; вы заставили меня полностью переменить мое мнение.

– Я бы сказала, – ответила Коринна, – что способность легко и свободно слагать стихи породила у нас множество посредственных поэтических произведений. Но меня радует плодovitость итальянской литературы, подобно тому как глаз мой ласкает наша обильная земля, густо поросшая растительностью. Я горжусь щедростью природы Италии. Особенно трогает меня склонность к импровизации в простых людях: я люблю игру их фантазии, которую не сразу заметишь у других народов. Этот талант придает поэтичность жизни низших классов нашего общества, избавляет нас от неприятного чувства, которое вызывает все вульгарное. Когда лодочники в Сицилии обращаются к путешественникам со словами приветия на своем благозвучном наречии, а потом, расставаясь с ними, произносят в их честь нежные прощальные стихи, нам невольно представляется, что чистое дыхание неба и моря действует на воображение людей подобно ветру, шевелящему струны эоловой арфы, и что поэзия, как и музыка, служит эхом природе. И вот что еще заставляет меня высоко ценить присущий нам дар импровизации: он не мог бы развиваться в том обществе, где любят насмешку; для того чтобы поэт мог отважиться на такое опасное дело, как выступить с импровизацией, надобно, я позволю себе так выразиться, атмосфера добродушия Юга или, вернее, тех стран, где люди любят веселиться, но не склонны критиковать то, что вызывает их веселье. Достаточно одной ирониче-

ской улыбки, чтобы лишить поэта присутствия духа, необходимого для творческого подъема; ему надобно, чтобы слушатели разделяли с ним его восторг и воодушевляли его рукоплесканиями.

– Но вы сами, сударыня, – спросил наконец Освальд, который до сих пор молчал, не сводя глаз с Коринны, – какие из ваших творений считаете вы лучшими: те, что явились плодом долгих дум или же – внезапного порыва вдохновения?

– Милорд, – ответила Коринна, и во взгляде ее засветилось чувство более теплое, нежели обычное уважение, – я предоставляю вам быть судьей в этом вопросе; но если вам угодно знать, что я об этом думаю, то признаюсь вам: импровизировать для меня все равно что вести оживленный разговор. Я не стесняю себя только одною темою: меня воодушевляет внимание, с каким меня слушают, и большей частью моего дарования, особенно в этом жанре, я обязана своим друзьям. Иной раз меня вдохновляет беседа, в которой затрагиваются возвышенные и важные вопросы, касающиеся нравственного мира человека, его судьбы, цели жизни, его долга, привязанностей; порою страстный интерес, внушаемый мне подобным разговором, придает мне силы и помогает мне открывать в природе и собственном моем сердце столь смелые истины и находить столь живые выражения, какие никогда бы не породило одинокое размышление. Тогда мной овладевает небесный восторг, и я чувствую, что во мне говорит нечто гораздо более значительное, чем я сама; нередко я отказываюсь от стихотворной речи и выражаю свои мысли прозой; иногда я вспоминаю прекраснейшие стихи на знакомых мне иностранных языках. Мне кажется тогда, что эти божественные строфы принадлежат мне, потому что ими проникнута душа моя. Порой я беру свою лиру и стараюсь передать в отдельных аккордах или в простых народных мелодиях мысли и чувства, которые я не сумела облечь в слова. Наконец, я ощущаю себя поэтом не только когда счастливый выбор рифм и благозвучных слов или же удачное сочетание образов поражают моих слушателей, но когда моя душа устремляется ввысь, когда она с презрением отвергает все себялюбивое и низменное, когда я становлюсь способной на подвиг, – вот тогда мои стихи звучат лучше всего. Я бываю поэтом, когда я восхищаюсь, когда презираю, когда ненавижу, но все это не во имя моего личного блага, а во имя достоинства рода человеческого и во славу мироздания.

Тут Коринна спохватилась, что слишком увлеклась разговором, и чуть покраснела; обратившись к лорду Нельвилю, она прибавила:

– Вы видите, я не могу заговорить о том, что меня трогает, не испытывая при этом сильнейшего душевного волнения; но ведь в нем-то и кроется источник идеальной красоты искусства, благочестия одиноких душ, великодушных поступков героев, бескорыстия людей; простите меня, милорд, за это, ведь такая женщина, как я, отнюдь не походит на ваших соотечественниц, заслуживающих вашего одобрения.

– Кто же может походить на вас? – воскликнул лорд Нельвиль. – И можно ли предписывать законы женщине, равной которой нет?

Граф д'Эрфейль был вне себя от восхищения, хотя понял далеко не все, о чем говорила Коринна; ее жесты, голос, манера выражаться совершенно очаровали его, и он впервые в жизни залюбовался нефранцузской красотой. Но по правде говоря, чрезвычайный успех, каким пользовалась Коринна в обществе, немало способствовал его восторгам, и, восхищаясь ею, он не оставлял удобной привычки руководствоваться чужим мнением.

– Согласитесь, дорогой Освальд, – говорил он, уходя с лордом Нельвилем от Коринны, – я все-таки достоин похвалы за то, что не пытаюсь ухаживать за такой прелестной женщиной.

– Но как будто все говорят, – возразил лорд Нельвиль, – что ей не так-то легко понравиться.

– Так говорят, – подхватил граф д'Эрфейль, – но мне этому верится с трудом. Не требуется много усилий, чтобы победить одинокую и независимую женщину, которая ведет образ жизни артистки.

Лорда Нельвиля неприятно задело это замечание. Граф д'Эрфейль, то ли ничего не приметив, то ли желая непременно высказать свои мысли, продолжал в том же духе:

– Это не значит, конечно, что, если бы я даже считал, что существует женская добродетель, я верил бы Коринне меньше, чем любой другой женщине. Правда, в глазах у нее гораздо больше выразительности, а во всех движениях больше живости, чем это полагается не только у вас, но и у нас, и можно усомниться в строгости ее правил; но она так умна, так глубоко образованна, наделена таким тонким тактом, что к ней нельзя применять обычных мерок, с какими судят о женщине. Уверяю вас, она мне внушает большое уважение, несмотря на ее непринужденность в обращении и свободу в разговоре. Вчера я попытался было – стараясь ни в чем, впрочем, не посягнуть на ваши права – замолвить и за себя несколько слов; обычно это ни к чему не обязывает: вас выслушали благосклонно – прекрасно, не выслушали – не беда; но Коринна так холодно взглянула на меня, что я не знал, куда деваться от конфуза. Не правда ли странно – оробеть перед итальянкой, артисткой, поэтессой – одним словом, перед женщиной, с которой, казалось бы, можно чувствовать себя как нельзя более свободно?

– Никому не известно ее настоящее имя, – заметил лорд Нельвиль, – но, судя по ее манерам, она, должно быть, знатного происхождения.

– О! – возразил граф д'Эрфейль. – Только в романах люди скрывают самые лестные для них вещи; в реальной действительности люди рассказывают о себе все, что может придать им побольше блеска, и даже кое-что присочиняют.

– Да, – перебил его Освальд, – так поступают обычно в обществе, где каждый заботится лишь о том, какое впечатление он производит на других; но там, где люди живут своим внутренним миром, бывают такие тайные обстоятельства, такие тайные сердечные чувства, что лишь тот, кто захотел бы жениться на Коринне, смог бы узнать...

– Жениться на Коринне! – залился громким смехом граф д'Эрфейль. – Да такая мысль никогда не могла бы прийти мне в голову. Послушайте меня, дорогой Нельвиль, если вам уж так хочется наделать глупостей, то делайте только такие, какие можно исправить! А что до женитьбы, то тут всегда следует считаться со светскими приличиями. Я кажусь вам легкомысленным, но готов биться об заклад, что в житейских делах я гораздо разумнее вас.

– Я тоже так думаю, – ответил лорд Нельвиль и не прибавил ни слова.

В самом деле, мог ли он сказать графу д'Эрфейлю, что легкомыслие часто заключает в себе большую долю эгоизма, который никогда не позволит человеку совершить ошибку под влиянием чувства, почти всегда требующего самоотвержения в пользу другого? Легкомысленные люди весьма ловко умеют устраивать свои дела, ибо во всем, что зовется мудреной наукой частной и общественной жизни, люди, лишенные иных качеств, чаще добиваются успеха, чем те, кто ими обладает. Отсутствие чувствительности, способности восхищаться, собственного мнения – все эти отрицательные драгоценные качества в соединении с некоторой сообразительностью помогают приобрести и сохранить за собой главные житейские блага – богатство и высокое положение в обществе. Шутки графа д'Эрфейля покорили лорда Нельвиля. Они были несносны ему, но неотвязно приходили все время на ум.

Книга четвертая

Рим

Глава первая

Уже прошло две недели, как Освальд посвящал все свое время Коринне. Он выходил из дому лишь затем, чтобы пойти к ней; он не видел и не хотел ничего и никого видеть, кроме нее; он никогда не говорил ей о своих чувствах, но поминутно во всем их выказывал. Коринна привыкла к восторженному и шумному поклонению итальянцев; тем сильнее занимали ее воображение сдержанный вид Освальда, его внешняя холодность и чувствительность, которую он часто, помимо своей воли, обнаруживал. Рассказывал ли он о чем-нибудь великодушном поступке или о каком-нибудь горестном событии, на глазах у него навертывались слезы, и он всегда спешил скрыть свое волнение. Он внушал Коринне столь глубокое уважение, какого она давно ни к кому не испытывала. Ум, даже самый выдающийся, не мог бы ее поразить, но возвышенный и благородный характер производил на нее непобедимое действие. Ко всем прочим достоинствам лорда Нельвиля присоединялась изысканность его речи, а благовоспитанность, сквозившая даже в самых незначительных его поступках, составляла разительный контраст с несколько небрежными и фамильярными манерами большинства римских аристократов.

Хотя вкусы Освальда во многом не совпадали со вкусами Коринны, оба чудесным образом понимали друг друга. Лорд Нельвиль с редкой проницательностью угадывал все ощущения Коринны, а она по малейшим изменениям его лица узнавала все, что происходило у него в душе. Она спокойно принимала бурные изъявления обожания итальянцев; но гордая и застенчивая привязанность Освальда, его чувство, во всем проявлявшееся и никогда не высказывавшееся, придавали ее жизни совершенно новую ценность. Ей казалось, что ее окружает необыкновенно сладостная, чистая атмосфера, и каждое ее мгновение было наполнено счастьем, которым она безотчетно наслаждалась.

Однажды утром к ней пришел князь Кастель-Форте. Она спросила, почему у него такое печальное лицо.

– Этот шотландец, – ответил он, – отнимет у нас вашу любовь, и кто знает, не увезет ли он вас далеко отсюда!

Коринна немного помолчала.

– Могу вас уверить, – сказала она, – что он ничего не говорил мне о любви.

– И все-таки вы в ней уверены, – возразил князь Кастель-Форте. – Вся его жизнь говорит вам об этом, и даже молчание его – лишь искусное средство внушить вам к себе интерес. Да и в самом деле, что вам можно сказать, чего бы вы уже не слышали? Есть ли на свете похвалы, которыми бы вас не осыпали? Каким только поклонением вас не окружали? Но в характере лорда Нельвиля есть нечто затаенное, замкнутое, и вы никогда не узнаете его так хорошо, как знаете нас. Во всем мире нет человека, которого было бы проще разгадать, чем вас; но оттого, что вы так легко открываетесь сами, все таинственное и непроницаемое покоряет вас и манит к себе. Неведомое, каково бы оно ни было, имеет над вами большую власть, чем те чувства, какие мы к вам питаем.

– Вы, стало быть, думаете, дорогой князь, – молвила с улыбкой Коринна, – что у меня неблагодарное сердце и своенравное воображение. Но, как мне кажется, лорд Нельвиль наделен столь замечательными и неоспоримыми достоинствами, что я не могу не порадоваться, распознав их.

– Не спору: он человек гордый, благородный, умный, даже чувствительный, – ответил князь Кастель-Форте, – но он склонен к меланхолии. Может быть, я глубоко ошибаюсь, но думаю, что вкусы его не имеют ничего сходного с вашими. Пока он будет находиться под обаянием общения с вами, вы этого не примечаете; но ваше влияние на него кончится, как только он очутится вдалеке от вас. Борьба с жизненными препятствиями для него утомительна; душа его, пережившая горе, подавлена унынием, оно отняло у него энергию и решительность; к тому же вы знаете, как рабски привержены англичане законам и обычаям своей страны.

Коринна, безмолвно внимавшая князю, вздохнула: в ней невольно проснулись тяжелые воспоминания о ее ранней юности. Но вечером она увидела Освальда; он, как никогда, был поглощен ею, и единственное, что осталось у нее в памяти от разговора с князем, – это желание задержать лорда Нельвиля в Италии, заставив его полюбить красоты этой страны. С этим намерением она и написала ему письмо, которое мы приводим ниже. Простота нравов, господствовавшая в Риме, служила оправданием такому шагу Коринны. Но если ей и можно было поставить в вину чрезмерное прямодушие и восторженность, никто не умел, как она, хранить свое достоинство при независимом образе жизни и быть столь скромной при всей своей живости.

Письмо Коринны лорду Нельвилю

15 декабря 1794 года

Я не знаю, милорд, сочтете ли вы меня слишком самоуверенной или же отдадите должное побуждениям, которые могут извинить подобную самоуверенность. Вчера я услышала от вас, что вы еще не видели Рима и не познакомились ни с величайшими произведениями нашего искусства, ни с древними руинами, которые учат нас истории посредством чувств и воображения, и тогда мне пришло в голову отважиться предложить вам свои услуги в качестве гида в прогулках в глубь веков. Несомненно, вы легко могли бы найти в Риме множество ученых, чьи обширные познания были бы неизмеримо полезнее для вас; но, если мне удастся внушить вам любовь к городу, к которому я так горячо привязана, ваши собственные исследования довершат то, что я начну своим несовершенным очерком.

Нередко чужестранцы приезжают в Рим – как если бы они приехали в Лондон или в Париж – искать увеселений большого города, и, если бы они только осмелились признаться, что скучают здесь, я думаю, многие бы с ними согласились; это столь же верно, однако, как и то, что в Риме можно открыть такое очарование, которое никогда не наскучит. Простите ли вы меня, милорд, если я хочу, чтобы и вам открылось это очарование?

Конечно, здесь следует забыть интересы мировой политики: когда они не связаны со священными чувствами и обязанностями, они охлаждают сердце. Здесь надо отказаться и от того, что в других странах называют светскими развлечениями: они почти всегда иссушают воображение.

В Риме можно наслаждаться жизнью уединенной, но полной интереса и свободно развивать в себе все, что заложено в нас свыше. Еще раз прошу вас, милорд, простите меня за любовь к моему отечеству, которая побуждает меня желать, чтобы его полюбил такой человек, как вы, и не судите со строгостью англичанина знак расположения, который выказывает вам итальянка, думая, что от этого она ничего не потеряет ни в своих, ни в ваших глазах.

Коринна

Тщетно пытался Освальд скрыть от себя самого, в какое волнение привело его это письмо: перед ним приоткрылось еще неясное будущее, полное счастья и наслаждений; мечты, любовь, энтузиазм – все, что есть прекрасного в душе человека, – все, казалось ему, соединилось в дивном плане Коринны совершать вместе с ним прогулки по Риму. На сей раз он не раздумывал: он тотчас же помчался к Коринне; по дороге, глядя на небо, он всем существом своим упивался безоблачным днем и чувствовал, как легко ему стало жить. Все его страхи и печали рассеялись при первом луче надежды; сердце его, так долго сжимавшееся от горя, билось и трепетало от радости; он опасался, что подобное блаженное состояние духа долго не продлится, но сама мысль, что оно быстротечно, придавала его лихорадочному волнению еще больше силы и энергии.

– Вы пришли? – сказала Коринна, увидев входящего лорда Нельвиля. – О, благодарю вас!

И она протянула ему руку. Освальд с величайшей нежностью прикоснулся к ней губами и в это мгновение почувствовал, как покинула его мучительная робость, которая так часто портила лучшие часы его жизни и заставляла его особенно горестно и тяжело томиться в присутствии самых любимых людей. Между ним и Коринной возникла какая-то близость, начало которой положило ее письмо; оба были довольны и полны нежной признательности друг к другу.

– Итак, сегодня утром, – заявила Коринна, – я покажу вам Пантеон и собор Святого Петра. Я все-таки немножко надеялась, – прибавила она, улыбаясь, – что вы согласитесь отправиться со мной в путешествие по Риму, лошади мои готовы. Я вас ждала, вы пришли, ну вот и прекрасно, едем!

– Удивительное создание! – воскликнул Освальд. – Кто вы? Откуда в вас столько очарования, столько разнообразных достоинств, которые, кажется, не могут совмещаться в одном человеке: чувствительность, веселость, вдумчивость, приветливость, непринужденность, скромность? Уж не мечта ли вы? Небесное счастье для человека, который вас встретил?

– Поверьте мне, – подхватила Коринна, – если в моей власти сделать немного добра, я никогда не откажусь от этого!

– Остерегайтесь, – возразил с жаром Освальд, беря руку Коринны, – остерегайтесь делать добро мне! Вот уже около двух лет, как сердце мое будто сжато железными тисками; если в вашем сладостном присутствии я чувствую какое-то облегчение, если я могу дышать подле вас, то что будет со мной, когда я снова вернусь к той жизни, какую определил мне мой жребий? Что будет со мной?

– Предоставим решить времени и судьбе, – прервала его Коринна, – произвела ли я на вас мимолетное впечатление, или же оно продлится долго. Если у нас родственные души, наша взаимная склонность не будет кратковременна. Но что бы там ни было, сейчас мы будем вместе восхищаться всем тем, что может возвысить наш ум и наши чувства; мы насладимся по крайней мере несколькими часами чистейшего счастья.

С этими словами Коринна стала спускаться по лестнице; Освальд, изумленный ее ответом, последовал за ней. Ему показалось, что она допускает возможность возникновения между ними неглубокого чувства, недолгого увлечения. Нечто легкомысленное послышалось ему в ее словах, и это больно задело его.

Ни слова не говоря, он сел в коляску рядом с Коринной.

– Я не думаю, – словно угадывая его мысли, промолвила она, – что наше сердце устроено таким образом, что мы или совсем не любим, или же охвачены непобедимой страстью. Бывает пора, когда любовь лишь только зарождается, и достаточно одной серьезной проверки, чтобы чувство исчезло. Обольщение сменяется разочарованием, и чем быстрее человек способен увлечься, тем быстрее может наступить охлаждение.

– Вы много размышляли о любви, сударыня, – с горечью заметил Освальд.

Коринна покраснела и некоторое время молчала; потом она опять заговорила – с достоинством и непритворной искренностью.

– Трудно допустить, – сказала она, – чтобы женщина, способная чувствовать, достигла двадцати шести лет, не узнав даже иллюзии любви; но то, что я никогда не была счастлива и не встретила человека, достойного моей привязанности, дает мне право на участие, и я рассчитываю на ваше.

Эти слова и тон, каким они были произнесены, слегка рассеяли облачко на лбу Освальда; однако же он сказал себе: «Она самая обольстительная из женщин, но она итальянка; у нее не такое робкое, невинное, еще не познавшее себя сердце, как у юной англичанки, которую предназначил мне в жены отец».

Эта юная англичанка, по имени Люсиль Эджермон, была дочерью лучшего друга отца лорда Нельвиля; она была еще ребенком, когда Освальд покинул Англию, и он не только не мог жениться на ней, но даже и представить себе, какой она вырастет.

Глава вторая

Освальд и Коринна первым делом поехали в Пантеон, ныне именуемый церковью Святой Марии Ротонды^[26]. В Италии католицизм повсюду унаследовал черты язычества; но только Пантеон – единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, единственный памятник, дающий полное представление о красоте зодчества древних и об особенностях их религиозного культа. Освальд и Коринна остановились на площади перед Пантеоном, чтобы полюбоваться портиком храма и колоннадой, его поддерживающей.

Коринна обратила внимание лорда Нельвиля на то, что Пантеон построен таким образом, что кажется гораздо грандиознее, чем он есть на самом деле.

– Собор Святого Петра, – сказала она, – произведет на вас обратное впечатление: сперва он покажется вам не столь огромным, каков он в действительности. Такой обман зрения, выгодный для Пантеона, происходит, как говорят, оттого, что между его колоннами больше пространства и простора для игры воздуха, но главное – оттого, что он почти лишен мелкого орнамента, которым изобилует собор Святого Петра. Так и поэзия древних: они писали лишь крупными мазками, предоставляя слушателям восполнять воображением все опущенные детали; мы же, современники, мы слишком многоречивы во всех родах искусства.

– Этот храм, – продолжала Коринна, – был посвящен Агриппою^[27], любимцем Августа, своему другу или, скорее, повелителю. Однако повелитель из скромности отклонил от себя подобные почести, и Агриппа посвятил храм всем олимпийским богам^[28], чтобы заменить ими единственного земного бога – власть. Над фронтоном Пантеона возвышалась бронзовая колесница, на ней стояли статуи Августа и Агриппы. Такие же статуи, лишь несколько в другом виде, красовались по обеим сторонам портика; на фризе его еще и сейчас можно прочесть слова: «Агриппа его посвятил». Именем Августа назван век, ставший целой эпохой в развитии человеческого разума. Множество замечательных произведений искусства, созданных его современниками, образовали как бы лучи венца, сиявшего над головою Августа. Своим великим умением отличать гениальных поэтов он снискал себе славу в потомстве.

– Войдем в храм, – сказала Коринна, – вы видите, он открыт доступу света^[29] почти так, как это было в древности. Говорят, что свет, льющийся сверху, был эмблемой верховного божества, возвышающегося над всеми остальными богами. Язычники всегда любили символы; мне кажется, что этот язык и вправду больше приличествует религии, нежели наша обычная речь. Дождь часто заливает эти мраморные плиты, но и солнечные лучи часто озаряют лица молящихся. Как светел этот храм! Какой у него праздничный облик! Язычники обоготворяли жизнь, христиане обоготворили смерть: таков дух обеих религий; однако наш римский католицизм менее сумрачен, чем тот, который исповедовали на Севере. Вы убедитесь в этом, когда мы войдем в собор Святого Петра! В святилище Пантеона находятся бюсты наших прославленных художников^[30]; они украшают ниши, где некогда помещались изображения древних богов. После падения империи цезарей Италия уже почти никогда не обладала политической независимостью, поэтому вы и не увидите здесь государственных мужей и великих полководцев. Только творческий гений составляет нашу славу; но не согласитесь ли вы, милорд, что народ, который так высоко почитает таланты, заслуживает лучшей участи?

– Я очень строго сужу народы, – ответил Освальд, – и всегда полагаю, что, какова бы ни была их участь, они заслужили ее.

– Это жестоко, – возразила Коринна. – Но быть может, проживя некоторое время в Италии, вы станете более снисходительны к этой прекрасной стране, которую природа украсила, словно некую жертву. Но знайте, по крайней мере, что для нас, художников, влюбленных в славу, нет более заветной мечты, чем получить здесь место. Я уже облюбовала себе свое, – и

она указала рукой на пустую нишу. – Кто знает, Освальд, не вернетесь ли вы опять сюда, когда мой бюст будет стоять здесь? Тогда...

– Как можете вы, блистая молодостью и красотой, – с живостью возразил ей Освальд, – говорить о смерти тому, кого горе и страдания привели почти на край могилы?

– Ах! – воскликнула Коринна. – Буря может в одно мгновение сломать цветы, которые еще высоко поднимают головки. Освальд, милый Освальд, – продолжала она, – почему вы не можете быть счастливы? Почему...

– Никогда не спрашивайте меня об этом, – прервал ее лорд Нельвиль, – у вас есть свои тайны, у меня – свои; будем оба уважать наше молчание. Нет, нет, вы не знаете, как была бы потрясена моя душа, если бы мне пришлось рассказать вам о моих несчастьях!

Коринна умолкла, и, когда они вышли из храма, шаги ее стали еще более медленными, а взоры – задумчивыми. Под портиком она оглянулась назад.

– Здесь, – сказала она, – стояла порфировая урна чудесной красоты, ее перенесли сейчас в церковь Святого Иоанна Латеранского; в этой урне хранился прах Агриппы: он покоился у подножья статуи, воздвигнутой Агриппой самому себе. Древние всячески старались смягчить мысль о смерти, отстраняя все скорбное и страшное, что связано с представлением о ней. Они с таким великолепием украшали свои гробницы, что контраст между мраком небытия и ярким блеском жизни становился менее ощутимым. Однако справедливо и то, что они не верили так беззаветно, как мы, в потусторонний мир; язычники пытались бороться со смертью, стремясь обрести вечную память в потомстве, меж тем как мы уповаем упокоиться в лоне Предвечного.

Освальд вздохнул и ничего не сказал. Меланхолические мысли имеют свое очарование, покуда человек не почувствует себя действительно глубоко несчастным. Но когда горе со всей силой охватывает душу, то нельзя слушать без внутренней дрожи иные слова, некогда погружавшие нас лишь в сладостную задумчивость.

Глава третья

Чтобы попасть к собору Святого Петра, надобно перейти через мост Святого Ангела; Коринна и Освальд пошли по нему пешком.

– Когда я возвращался с Капитолия, – сказал Освальд, – вот здесь, на этом мосту, я впервые долго думал о вас.

– Я не тешила себя мечтой, – отозвалась Коринна, – что праздник на Капитолии подарит мне нового друга; но все-таки, стремясь к славе, я всегда надеялась, что она принесет мне любовь; ведь для чего женщине слава, если нет у нее этой надежды?

– Постоим здесь немного! – попросил Освальд. – Какие воспоминания вековой старины могут говорить моему сердцу больше, чем это место, которое напоминает мне о том дне, когда я впервые увидел вас?

– Может быть, я не права, – проговорила Коринна, – но мне кажется, что люди становятся дороже друг другу, когда они вместе дивятся памятникам, поражающим душу своим истинным величием. Римские сооружения не холодны и не безгласны: их создал гений, их освятили незабываемые события; быть может, даже надо испытывать любовь, Освальд, любовь к человеку такого склада, как вы, чтобы вместе с ним находить радость в постижении всего благородного и чудесного, что существует в мире.

– Вы правы, – ответил Освальд, – но, когда я гляжу на вас, когда я слышу ваш голос, мне не надобно иных чудес.

Она поблагодарила его прелестной улыбкой.

По дороге они остановились у замка Святого Ангела.

– Вот здание, – сказала Коринна, – чрезвычайно своеобразное по своему внешнему виду. Построенное сначала как мавзолей Адриана, затем превращенное готами в крепость, оно сохранило до наших дней черты своего первого и второго назначения. Это здание было сооружено для усопших, и его обнесли неприступной оградой, но, возведя наружные укрепления, люди придали ему грозный характер, составляющий разительный контраст с молчанием и величавым спокойствием надгробного памятника. Наверху стоит бронзовый ангел с обнаженным мечом; внутри находятся страшные казематы. Все достопамятные события римской истории, начиная от времен Адриана и до нашей поры, связаны с этим монументом. Здесь оборонялся от готов Велисарий^[31]; мало чем отличаясь от варваров, он метал в своих противников дивные статуи, украшавшие внутреннюю часть здания. Кресценций, Арнольдо Брешианский, Кола ди Риенци^[32] – все эти друзья свободы Рима, которые так часто черпали надежды в исторических воспоминаниях, долго защищались здесь, в гробнице римского императора. Я люблю эти камни, они говорят о стольких знаменитых деяниях. Я люблю эту роскошь владыки мира – пышность его могилы. Было нечто великое в человеке, который, наслаждаясь всеми земными благами, владея всеми земными богатствами, не страшился задолго до своего конца помышлять о смерти. Высокие помыслы, бескорыстные чувства наполняют душу, когда она переступает через жизненный предел.

– Отсюда, – продолжала свой рассказ Коринна, – должен был открываться вид на собор Святого Петра, и до сих пор должна была простираться колоннада, являющаяся его преддверием: таков был гордый замысел Микеланджело^[33]; он надеялся, что этот замысел осуществится хотя бы после его смерти; но люди нашей эпохи не пекутся о своем потомстве. Когда чувство восторга становится предметом насмешек, все погибает, кроме золота и власти.

– Но вам суждено возродить это чувство! – воскликнул лорд Нельвиль. – Кто до меня испытывал подобное счастье? Вы показываете мне Рим! Ваш гений и ваше воображение знакомят меня с Римом!

Целый мир ты, о Рим, однако, лишенный любви,
Миром не был бы мир, не был бы Римом и Рим^[34].

Ах, Коринна, что будет, когда промчатся эти дни, чересчур счастливые, чтобы мое сердце и мой жребий позволили мне ими наслаждаться?

– Все искренние привязанности исходят от Неба, – ласково ответила Коринна. – Почему же Оно не защитит чувство, которое само нам внушило? Пусть Небо располагает нами!

Наконец перед ними предстал собор Святого Петра – самое грандиозное из всех сооружений, когда-либо воздвигнутых людьми, ибо даже египетские пирамиды уступают ему в высоте.

– Возможно, – сказала Коринна, – что мне бы следовало показать вам последним этот прекраснейший образец нашей архитектуры, но у меня другая система. Мне представляется, что, для того чтобы научиться понимать искусство, надо начать знакомство с теми шедеврами, которые вызывают в нас самое сильное и глубокое восхищение. Однажды испытанное, это чувство как бы откроет вам новую сферу идей, и вы научитесь любить и ценить даже менее совершенные произведения искусства, вспоминая о первом полученном вами впечатлении. Мне не по вкусу все эти медленные переходы, тщательно обдуманнные осторожные приемы, рассчитанные на то, чтобы исподволь подготовить наибольший эффект. Великое нельзя постигать постепенно: бесконечное расстояние отделяет великое от того, что лишь прекрасно.

Когда Освальд очутился перед собором Святого Петра, он ощутил необычайное волнение. Впервые в жизни создание рук человеческих произвело на него впечатление чуда природы. Только плоды труда художника могут сравниться на нашей земле с величием первозданных творений Божества. Коринна радовалась изумлению Освальда.

– Я нарочно выбрала такое время, – сказала она, – чтобы показать вам этот памятник в ослепительном блеске солнечных лучей. Но я поберегла для вас удовольствие, связанное с еще более трепетным, еще более благоговейным чувством: это созерцание собора при лунном освещении; однако до этого вам следовало побывать днем на самом блистательном из праздников и увидеть создание гения, великолепно украшенное природой.

Площадь Святого Петра окружена колоннами, которые издали кажутся легкими, а вблизи – массивными. Площадь постепенно повышается по направлению к портику собора, что придает ей еще больше красоты. Посредине ее находится обелиск вышиной в восемьдесят футов, однако по сравнению с куполом собора он не кажется столь высоким. В самой форме обелисков есть нечто пленяющее воображение: вершины их словно парят в воздухе и возносятся к небу великую мысль человеческую. Этот монумент, вывезенный из Египта для украшения бань Калигулы и позднее перенесенный к собору Святого Петра по приказу папы Сикста V, монумент, бывший свидетелем стольких столетий, не сокрушивших его, внушает почтение: человек чувствует себя столь недолговечным, что его всегда охватывает смятение при виде того, что не поддается влиянию времени. В некотором отдалении по обеим сторонам обелиска стоят два фонтана; водяные струи непрестанно взлетают кверху и затем низвергаются вниз, разбиваясь в воздухе. Журчание воды, столь привычное для нашего слуха на лоне природы, производит совершенно неожиданное впечатление на этой площади, но вполне гармонирует с тем чувством, какое возникает при виде величественного храма.

Живопись и скульптура, изображая большей частью человека или какие-либо явления, существующие в природе, возбуждают в нашем сознании совершенно понятные и определенные представления. Но созерцание прекрасного памятника архитектуры, не имеющего, так сказать, явно выраженного смысла, располагает к смутной, безотчетной мечтательности, увлекающей мысли куда-то вдаль. Однообразное журчание воды вызывает столь же неясные, но глубокие ощущения, как и строгие пропорции здания. Так сближаются

Вечное движение и вечный покой³.

Время словно утратило свою власть на этой площади: здесь не иссякает бьющая каскадом вода, не рушатся неподвижные камни. Струи, вздымающиеся в виде снопов, столь воздушны, столь легки, что в погожий день солнечные лучи дробятся в них чудесными многоцветными радугами.

– Погодите одно мгновение! – воскликнула Коринна, когда лорд Нельвиль ступил уже под портик собора. – Погодите, не торопитесь приподнять занавес^[35], прикрывающий дверь храма! Разве сердце ваше не бьется при приближении к этому святилищу? Разве вы не почувствовали, входя сюда, что стоите на пороге какого-то великого события?

Коринна приподняла занавес и придержала его, чтобы пропустить вперед лорда Нельвиля; в этой грациозной позе она была так хороша, что приковала к себе взгляд Освальда, и некоторое время он ничего уже больше не видел. Но вот он вошел в храм, и впечатление от необъятных сводов охватило его с такой могучей и благоговейной силой, что одно чувство любви уже не могло безраздельно наполнять его душу. Он медленно шел рядом с Коринной; оба молчали. Все здесь призывает к безмолвию; малейший шорох отдается так далеко, что немислимо разговаривать: кажется, нет слов в человеческой речи, достойных повториться эхом в этой вечной обители. Только молитва, только скорбный вздох, вырвавшийся из горестной груди, могут тронуть сердце в этих обширных просторах. И когда под этими огромными сводами слышатся издали зыбкие шаги дряхлого старца, бредущего по прекрасным мраморным плитам, орошенным потоками слез, – тогда начинаешь постигать, сколь велик человек даже в самой слабости своей природы, подвергающей стольким мукам его божественную душу, тогда начинаешь понимать, что в христианстве, этом культе страдания, заключена истинная тайна кратковременного пребывания человека на земле.

– Вы видели готические церкви в Англии и Германии, – прервала Коринна раздумья Освальда, – и вы, должно быть, заметили, что они гораздо более сумрачны, чем этот собор. В католицизме северных народов есть нечто мистическое. Наш католицизм, напротив, поражает воображение красотой внешнего мира. Микеланджело воскликнул, увидев купол Пантеона: «Я поставлю его в воздухе!» И действительно, собор Святого Петра – это храм, возвышающийся над церковью^[36]. Внутри собор производит особенное впечатление, созданное неким смешением элементов античных религий с христианством. Я часто прихожу сюда, чтобы восстановить душевный покой, который я порою теряю. Облик подобного памятника архитектуры напоминает непрерывную застывшую музыку^[37], оказывающую на вас благотворное действие, едва вы к ней приближаетесь; и конечно, к заслугам нашего народа, дающим право на славу, следует причислить также терпение, мужество и бескорыстие князей нашей церкви, затративших в течение полутора столетий^[38] столько средств и труда на постройку здания, завершения которого не могли надеяться увидеть те, кто воздвигал его; подарить народу памятник, являющийся воплощением стольких благородных и возвышенных идей, – это похвально и с точки зрения общественной нравственности.

– Все это так, – ответил Освальд, – вам принадлежит великое искусство, произведения ваших гениальных художников блещут фантазией и изобретательностью, но как защищается у вас достоинство человека? Какие у вас учреждения! Какую слабость проявляет большинство ваших правителей! И при этом как они поработают умы!

– И другие народы, – перебила Коринна, – несли подобное иго, но мы, по крайней мере, одарены воображением и можем мечтать об иной участи:

Servi siam, si, ma servi ognor frementi.

³ Стих де Фонтана (примеч. фр. издания). Луи де Фонтан (1757–1821) – французский поэт эпохи позднего классицизма.

«Мы рабы, да, но рабы, всегда содрогающиеся», – сказал Альфьери, самый гордый из новейших наших поэтов^[39]. В нашем искусстве так много душевной глубины, что когда-нибудь наш характер сравняется с нашим гением.

– Взгляните сюда, – продолжала Коринна, – взгляните на эти надгробные статуи, на эти мозаичные картины – тщательно выполненные и верные копии превосходных творений наших великих мастеров. Я никогда не разглядываю собор Святого Петра в подробностях, потому что не люблю этих бесчисленных красот, которые слегка нарушают впечатление от целого. Но каково же величие памятника, если даже прекраснейшие создания человеческого духа кажутся для него излишними украшениями! Этот храм заключает в себе целый мир. Здесь можно найти приют и в холод, и в жару. Здесь свои времена года, своя вечная весна, которую наружная атмосфера никогда не может изменить к худшему. Под плитами этого храма выстроена подземная церковь, там похоронены папы и многие чужеземные государи: Христина, отрекшаяся от престола, Стюарты – после падения их династии^[40]. Вот уже много веков, как Рим стал убежищем изгнанников всего мира; разве сам Рим не лишился своего трона? Его вид утешает всех низвергнутых королей.

Cadono le citta, cadono i regni,
E l'uom, d'esser mortal par che si sdegni^[41].

– Станьте здесь, подле алтаря, – сказала Коринна лорду Нельвилю, – под самым центром купола! Вы увидите под вашими ногами сквозь железную решетку церковь усопших, а если поднимете глаза, то ваш взор с трудом достигнет вершины свода. Глядя на купол снизу, испытываешь чувство ужаса. Так и кажется, что над вашей головой нависла бездна. Все, что выходит за пределы известной меры, внушает человеку, существу по своей природе ограниченному, непобедимый страх. Все, что мы знаем, столь же необъяснимо, как и то, чего мы не знаем; но мы, если можно так выразиться, свыклись с нашим обычным неведением, меж тем как новые тайны пугают нас и вносят смятение в наши души. Вся церковь украшена античным мрамором, и эти камни знают больше, чем мы, о протекших столетиях. Вот статуя Юпитера, которую переделали в статую святого Петра, окружив его голову ореолом. Для этого храма характерна смесь мрачных религиозных догматов с великолепиям церковной службы: скорбные идеи католицизма сочетаются с южной жизнерадостностью и изнеженностью, суровость замысла – с чрезвычайной мягкостью в истолковании, христианская теология – с языческой образностью; одним словом, мы видим здесь самое восхитительное соединение пышности и духовного величия, какое человек может придать культу божества.

Гробницы, украшенные чудесами искусства, отнимают у смерти ее устрашающий облик. Мы отнюдь не подражаем древним, которые высекали на саркофагах изображения игр и плясок; но надгробные памятники, созданные нашими гениальными художниками, отвлекают нас от мысли о разрушении. Они говорят о бессмертии на самом алтаре смерти; воображение, одушевленное восторгом, который они вызывают, уже не замечает ни безмолвия, ни холода этих незыблемых стражей кладбища. Иное дело у вас на Севере.

– Конечно, – сказал Освальд, – мы хотим, чтобы смерть была окружена знаками печали; еще задолго до того, как нас озарил свет христианства, мы находили в нашей древней мифологии и в поэзии Оссиана^[42] свидетельства того, что у наших могил раздавались лишь жалобные вопли и погребальные песни. Вы же хотите только забвения и радости жизни; а я не уверен, захотел ли бы я, чтобы ваше прекрасное небо подарило мне подобное счастье.

⁴ Рушатся города, рушатся царства, а человек возмущен тем, что он смертен (*ит.*).

– Не думайте, однако, – возразила Коринна, – что наши нравы ветрены, а умы легкомысленны. Только тщеславие порождает легкомыслие; ленивая беспечность может дать человеку ненадолго забвение, погрузив его на короткое время в жизненный сон, но она не сушит и не охлаждает сердца; к нашему несчастью, из этого душевного состояния нас вырывают страсти более глубокие и более страшные, чем те, какие свойственны деятельным натурам.

Меж тем Коринна и лорд Нельвиль приблизились к выходу из собора.

– Еще один последний взгляд на это величественное святилище! – сказала она. – Вы видите, сколь ничтожно мал человек перед лицом религии, хоть он и ограничивается созерцанием ее материальной оболочки! Смотрите, какую несокрушимость, какую длительность умеют придавать смертные своим созданиям, в то время как сами они столь быстро расстаются с жизнью, переживая себя только в гениальных творениях. Этот храм – образ бесконечности: нет предела чувствам, которые он рождает, думам, которые он вызывает, веренице бесчисленных лет, о которой он напоминает, наводя на размышления о будущем или же о прошлом; и когда выходишь за эту ограду, то кажется, что от небесных мыслей ты спустился к земной суете и, расставшись с вечной жизнью религии, вступил в легкомысленную атмосферу современности.

Когда они вышли, Коринна обратила внимание лорда Нельвиля на то, что на барельефе, высеченном на вратах собора, изображены сцены из «Метаморфоз» Овидия.

– В Риме никого не шокируют, – сказала она, – языческие образы, освященные искусством. Чудесные произведения гениальных художников всегда наполняют душу благоговейным чувством, и мы украшаем христианскую церковь всеми шедеврами, хотя бы и вдохновленными другими религиями.

Освальд улыбнулся этому объяснению Коринны.

– Верьте мне, милорд, – продолжала она, – народы, обладающие живым воображением, всегда правдивы в своих чувствах. Но до свидания; если угодно, завтра я поведу вас на Капитолий. Я надеюсь, что смогу предложить вам еще не одну прогулку по Риму; а когда они кончатся, вы уедете? Разве...

Она остановилась, испугавшись, что слишком много сказала.

– Нет, Коринна, нет! – подхватил Освальд. – Я не откажусь от этого луча счастья, который, быть может, послал мне с небес мой ангел-хранитель.

Глава четвертая

На другой день Освальд и Коринна отправились в странствие по Риму уже без прежней неловкости, с большим душевным спокойствием. Они чувствовали себя друзьями, которые путешествуют вместе, они начинали говорить о себе «мы». О, как нежно звучит это «мы» в любящих устах! Какое робкое и в то же время пылкое признание заключено в нем!

– Итак, мы сегодня едем на Капитолий! – заявила Коринна.

– Да, мы сегодня едем на Капитолий, – отозвался Освальд, и в этих простых словах он выразил все – столько мягкости и ласки было в его голосе!

– С высоты Капитолия – в его нынешнем виде – можно отлично рассмотреть семь римских холмов^[43], – сказала Коринна. – Потом мы их все обойдем: ведь каждый из них хранит исторические воспоминания.

Сперва Коринна и Освальд поехали по дороге, некогда названной «Священной»^[44], или «Триумфальной».

– Тут проезжала ваша колесница? – спросил Освальд.

– Да, – ответила Коринна. – Воображаю, в какое изумление привела моя колесница эту античную дорожную пыль!.. Правда, после гибели Римской республики столько преступлений оставили здесь свои следы, что почтение, какое внушала эта дорога, заметно уменьшилось.

Коринна велела кучеру подъехать к лестнице, ведущей на современный Капитолий. На древний Капитолий ход шел с Форума.

– Как бы мне хотелось, – промолвила Коринна, – чтобы это были те самые ступени, по которым поднимался Сципион, когда, посрамив своих клеветников, окруженный славой, он спешил в храм возблагодарить богов за одержанные им победы^[45]. Впрочем, и новая лестница, и новый Капитолий выстроены из обломков древнего Капитолия, а мирный магистрат, нашедший здесь приют^[46], носит высокое имя Дворца римских сенаторов, – имя, перед которым некогда склонялась вся вселенная. Сохранились только имена, но они так приятны для слуха, в них столько древнего величия, что при одном их звуке душа наполняется каким-то отрадным волнением – чувством сладостным, хотя и смешанным с горестью. На днях я спросила у одной бедной женщины, встретившейся мне по дороге, где она живет. «На Тарпейской скале»^[47], – ответила она, и хоть эти слова утратили свой былой смысл, они и сейчас еще тревожат наше воображение.

Освальд и Коринна остановились у лестницы, чтобы рассмотреть двух базальтовых львов, лежащих по ее сторонам. Их привезли из Египта: египетские скульпторы ваяли с большим искусством фигуры животных, нежели людей. Капитолийские львы исполнены столь величавого спокойствия, что кажутся истинным воплощением умиротворенной силы.

A guisa di leon, quando si posa.

Dante^[48]

Неподалеку от этих львов стоит разбитая статуя, аллегорически изображающая Рим. Современные римляне не подумали, поместив ее здесь, что это превосходная эмблема нынешнего положения Рима. У этой статуи нет ни ног, ни головы, но уцелевший торс и складки одежды поражают и теперь своей античной красотой. На верху лестницы виднеются два гиганта, изображающие, как предполагают, Кастора и Поллукса^[49], далее – «трофеи Мэрия»^[50] и два мильных столба, служивших для обозначения границ римских владений, и, наконец, среди всех этих разнообразных памятников старины, на площади перед Капитолием, возвы-

⁵ Наподобие льва, когда он отдыхает. – *Данте* (ит.).

шается чудесная, проникнутая миром и покоем конная статуя Марка Аврелия. Таким образом, здесь представлены все эпохи: героические времена – Диоскурами^[51], республика – львами, гражданские войны – Марием, счастливый век императоров^[52] – Марком Аврелием.

Справа и слева от нового Капитолия находятся две церкви, построенные на развалинах храмов Юпитера Феретрийского^[53] и Юпитера Капитолийского. Перед входом в Капитолий находится водоем, украшенный фигурами двух речных божеств – Нила и Тибра – и Ромуловой волчицы. Имя Тибра в Риме не принято упоминать вскользь, словно речь идет о какой-то неизвестной реке; римлянам доставляет большое удовольствие сказать с каким-то особым значением: «Поведите меня на берег Тибра, переправимся через Тибр». Когда произносят эти слова, то чудится, будто воскресла сама история и мертвые восстали из гробов. Если к Капитолию пройти с Форума, по правую руку останутся Мамертинские темницы^[54]. Они были выстроены Анком Марцием^[55] для обыкновенных преступников. Но Сервий Туллий^[56] повелел соорудить там и подземные темницы – гораздо более страшные, – куда бросали государственных преступников, словно они не заслуживали уважения хотя бы уже потому, что в основе их заблуждений часто лежали благородные цели. В этих темницах погибли Югурта и Катилина^[57]; по преданию, туда были заточены святые Петр и Павел. За Капитолием высится Тарпейская скала; у подножья ее мы сейчас видим госпиталь, носящий название «Утешение». Так и кажется, что суровый дух античности и кротость христианского вероучения, пройдя сквозь века, соединились здесь в Риме, чтобы, представ нашим взорам, дать нам пищу для размышлений.

Когда Освальд и Коринна поднялись на башню, венчающую Капитолий, она показала ему семь римских холмов. Рим первоначально располагался на вершине Палатинского холма; затем город распространился до стен Сервия Туллия^[58], замкнувших все семь холмов, а позднее – раскинулся до Аврелиановых стен^[59], и теперь еще огораживающих большую часть территории нынешней столицы Италии. Коринна припомнила по этому случаю стихи Тибулла и Проперция, прославляющие первые слабые ростки, давшие начало городу – будущему владыке мира. Если некогда весь Рим умещался на Палатинском холме, то позднее один лишь императорский дворец занял такое пространство, которого хватило бы раньше для всего римского народа. Один поэт Нероновской эпохи сочинил по этому поводу эпиграмму:

Рим станет царским дворцом.
Уходите в Вейи, квириты,
Если и Вейи уже этим не стали дворцом^{6[60]}.

Семь холмов ныне стали неизмеримо ниже, чем в старину, когда они заслуживали свое название «крутых гор». Новый Рим расположен на сорок футов выше античного города. Долины между холмами с течением времени были засыпаны развалинами древних построек; но удивительнее всего то, что черепки разбитых ваз образовали два новых холма⁷. Этот прогресс или, вернее, обломок старой цивилизации являет собой точную картину нашей эпохи, когда горы сравниваются с долинами и постепенно стираются все прекрасные неровности, созданные природой как в нравственном, так и в физическом отношении.

Три другие холма⁸, не включенные в число знаменитых семи, придают Риму весьма живописный вид; это, быть может, единственный в своем роде город, заключающий в себе огромное разнообразие великолепных панорам. Здесь мы находим поразительное смешение руин и величественных зданий, цветущих полей и пустырей. Рим можно рассматривать со всех сторон и всегда видеть удивительные картины с самых противоположных пунктов.

⁶ Roma domus fiet: Veios migrate Quirites; Si non et Veios occupat ista domus.

⁷ Читорио и Тестачио (*примеч. фр. издания*).

⁸ Яникульский, Ватиканский и холм Марио (*примеч. фр. издания*).

Освальд не мог наглядеться на следы античного Рима с той высоты, куда привела его Коринна. Чтение исторических книг, раздумья, которые они вызывают, не так воспламеняют воображение, как созерцание разбросанных камней и древних развалин, перемежающихся с новейшими постройками. Зрительные впечатления с могучей силой ложатся на душу: когда человек своими глазами видит римские руины, он проникается такой верой в существование древних римлян, словно сам жил в их времена. Знания, приобретенные из книг, носят рассудочный характер; непосредственное, живое познание, в котором большую роль играет наша фантазия, облекает в плоть и кровь наши представления и как бы приобщает нас самих к тому, с чем мы знакомы лишь понаслышке. Конечно, нам докучают современные дома, перемежающиеся с остатками античности; но какой-нибудь портик, стоящий рядом с убогой хижинкой, колонны, меж которыми виднеются узкие церковные окна, гробница, ставшая убежищем для крестьянской семьи, – все это будит целый рой возвышенных и трогательных мыслей, приносит радость открытия, не дает угаснуть вспыхнувшему в нас интересу к древности. Все банально, все прозаично во внешнем облике большинства европейских городов; Рим даже больше любого из них являет собой грустную картину нищеты и упадка; но вот неожиданно мелькнет разбитая колонна, полустертый барельеф, обнажится несокрушимая кладка кирпичей, известная лишь древним зодчим, – и все это сразу заставляет вспомнить о вечной мощи человеческого гения, божественной искре, пылающей в нашей душе, о том, что надлежит неустанно разжигать ее в себе и других.

Форум, заключенный в столь тесное пространство, но выдавший так много удивительного на своем веку, может служить разительным доказательством нравственного величия человека. Когда вселенная в последние времена римского господства была во власти бесславных правителей, протекали целые века, о которых история не сохранила почти никаких воспоминаний; но разве Форум, эта небольшая площадь – центр города, тогда еще очень ограниченного в своих размерах, обитатели которого сражались с соседями из-за клочка земли, – разве Форум не дышит воспоминаниями о лучших людях, живших когда-либо? Вечная слава, слава храбрым и свободным народам, к которым устремляются взоры потомства!

Коринна обратила внимание лорда Нельвиля на то, что в Риме осталось очень мало памятников республиканской эпохи. Акведуки, подземные каналы для стока воды – вот единственная роскошь, какую позволяли себе республика и предшествовавшие ей цари. До наших дней сохранились только общественные сооружения республики – гробницы, построенные в честь великих мужей, да несколько кирпичных храмов. Римляне начали пользоваться мрамором для постройки своих монументов лишь после завоевания Сицилии^[61]; но стоит только увидеть те места, где происходили выдающиеся события, как сердце дрогнет от неизъяснимого волнения. Этой способностью человека объясняется власть, которую имеют над его душой паломничества по священным местам. Страны, прославленные замечательными деяниями, производят на нас большое впечатление, даже если там уже нет ни великих мужей, ни великих памятников. Пусть исчезло то, что некогда поражало взоры, – осталось очарование воспоминаний!

На Форуме не видно и следов знаменитой трибуны, с вершины которой красноречие ораторов управляло римлянами; но там возвышаются три колонны, уцелевшие от храма Юпитера Громовержца, воздвигнутого Августом в память того случая, когда молния ударила близ императора, не затронув его; там находится триумфальная арка Септимия Севера^[62], которую сенат, в благодарность за его подвиги, выстроил в его честь. На фронте этой арки были написаны имена двух его сыновей – Каракаллы и Геты^[63]. Но когда Каракалла убил Гету, он приказал убрать имя брата, и следы стесанных букв видны еще и поныне. Немного поодаль стоит храм Фаустины – свидетельство безрассудной слабости Марка Аврелия^[64]; затем мы видим храм Венеры, посвященный богине Палладе во времена республики; а еще чуть подальше – руины храма Солнца и Луны, возведенного Адрианом, который завидовал знаменитому греческому

зодчему Аполлодору и приказал казнить его за то, что тот нашел погрешности в пропорциях здания, выстроенного императором.

На другой стороне площади виднеются остатки сооружений, связанных с более благородными и чистыми воспоминаниями: колонны, сохранившиеся от храма, который отождествляют с храмом Юпитера-Статора^[65], не позволявшего римлянам обращаться в бегство перед лицом неприятеля; единственная колонна, уцелевшая от храма Юпитера-Хранителя, помещавшегося, по преданию, близ бездны, куда бросился Курций^[66]; наконец, колонны от храма, посвященного, по мнению одних, богине Согласия, а по мнению других, – Победы; очевидно, народы-завоеватели смешивают два эти понятия и считают, что не может быть прочного мира, доколе им не подчинится вся вселенная. У подножья Палатинского холма возвышается великолепная триумфальная арка, воздвигнутая в честь завоевания Титом Иерусалима^[67]. Говорят, будто евреи, живущие в Риме, никогда не проходят под ней: чтобы избежать этой необходимости, они протоптали рядом с аркой узкую тропку, которую обычно показывают любопытным. Ради чести евреев надо пожелать, чтобы этот рассказ был правдив: великие несчастья заслуживают, чтобы их долго помнили.

Неподалеку отсюда находится арка Константина, покрытая барельефами, которые христиане похитили с форума Траяна^[68], чтобы украсить памятник «миротворца», как они называли Константина. Искусство в ту пору клонилось к упадку, и, чтобы возвеличить новые подвиги, приходилось грабить прошлое. Триумфальные арки, до сих пор сохранившиеся в Риме, увековечивали – насколько то было доступно человеку – славу великих людей. На вершинах арок устраивались особые места для флейтистов и трубачей, чтобы победитель, проходивший внизу, услаждался одновременно и музыкой, и приветственными кликами толпы, переживая самые волнующие душу чувства.

Напротив триумфальных арок высятся развалины храма Мира, выстроенного Веспасианом^[69]; храм этот был так богато изукрашен внутри бронзой и золотом, что, когда произошел пожар, отсюда на Форум потекли потоки расплавленного металла. Наконец, эту благородную площадь, запечатлевшую в себе как бы всю историю, завершает Колизей, самая прекрасная руина Рима. Это великолепное здание, украшенное золотом и мрамором, от которого остались только голые камни, некогда служило ареной борьбы гладиаторов с дикими зверями. С помощью таких сильных ощущений развлекали и одурманивали римский народ, уже утративший способность наслаждаться простыми радостями. В Колизей вели два входа: один служил для победителей, через другой выносили мертвые тела побежденных. Какое же необычайное презрение надо было питать к человеку, чтобы ради пустой забавы играть его жизнью и смертью! Тит, лучший из императоров, посвятил Колизей римскому народу^[70]; эти достойные удивления руины отмечены печатью столь высокого гения, что можно впасть в заблуждение и найти истинное величие в произведении искусства, не предназначенном для возвышенной цели.

Освальд не разделял восхищения Коринны, которая любовалась четырьмя галереями, поднимающимися одна над другой, – этим смешением пышности и обветшалости, внушающим одновременно чувство сожаления и почтения. Он ничего здесь не видел, кроме прихоти повелителей, проливавших кровь своих рабов, и испытывал неприязнь к искусству, которое расточало богатые дары как добру, так и злу, не помышляя о своем назначении. Коринна пыталась рассеять это предубеждение Освальда.

– Не вносите ваших строгих принципов морали и справедливости, – сказала она, – в оценку памятников итальянского искусства; я уже говорила вам, что они больше напоминают нам о блеске, изяществе и красоте античных форм, чем о прославленной эпохе римской добродетели. Но разве вы не находите в безумной роскоши этих сооружений, переживших века, следов нравственного величия древних? Римский народ был велик даже в своем упадке; скорбя по свободе, он одарил мир чудесами искусства, и творения идеальной красоты призваны были утешить человека в потере его подлинного достоинства. Взгляните на эти грандиозные бани,

открытые для всех, кто желал вкусить восточных наслаждений, на эти цирки, в которых происходили бои слонов с тиграми, на эти акведуки, мгновенно превращавшие цирковую арену в озеро, где сражались между собой воины на галерах, где вместо львов появлялись крокодилы! Вот какова была роскошь римлян, когда они вкладывали свою гордость в эту роскошь! Обелиски, вывезенные из Египта, выкраденные из мрачных недр Африки, чтобы украсить римские гробницы, бесчисленные статуи, встречавшиеся в Риме на каждом шагу, – разве можно сравнивать все это с бесполезной, расточительной роскошью азиатских деспотов? Во всем этом сказывается римский дух, дух победителей мира, который искусство облекло в свои одежды. Есть нечто сверхчеловеческое в этой великолепии, его поэтический блеск заставляет забыть, как оно возникло и к чему стремилось.

Красноречие Коринны вызывало восхищение Освальда, но не могло переубедить его; он во всем искал морального основания, без которого никакая магическая сила искусства не имела над ним власти. Тогда Коринна напомнила ему, что на этой самой арене отдавали свою жизнь гонимые за веру христиане; она указала лорду Нельвилю на часовни, воздвигнутые на месте их гибели, рассказала о «крестном пути»^[71], которым верующие в дни покаяния проходят вдоль стен Колизея, этого блистательного памятника исчезнувшего мирского величия, и спросила у него, неужели прах мучеников ничего не говорит его сердцу?

– Напротив! – вскричал Освальд. – Я благоговею перед такой твердостью духа и воли, которая презирает смерть и страдания. Всякая жертва прекрасна и стоит больших усилий, чем высокие парения души и ума. Пылкое воображение способно творить чудеса, создавая гениальные произведения искусства, но только преданность своим взглядам и убеждениям является подлинной добродетелью человека – лишь при этом его земное начало может подчиниться небесной силе.

Эти благородные слова смутили Коринну; она взглянула на лорда Нельвиля и тотчас потупила глаза; и хотя он в это мгновение взял ее руку и прижал к сердцу, она задрожала при мысли, что такой человек в состоянии принести в жертву и себя и других во имя своих нравственных правил и обязанностей.

Глава пятая

После посещения Капитолия и Форума Освальд и Коринна посвятили еще два дня прогулке по холмам. Семь холмов, на которых расположен Рим, придают городу неповторимую красоту: в древности устраивались празднества, прославлявшие их, и легко можно представить себе, как это льстило патриотическим чувствам римлян.

Побывав уже накануне на Капитолийском холме, Освальд и Коринна решили начать свой осмотр с Палатина. Палатинский холм был весь застроен Дворцом цезарей, или, как его называли, «Золотым дворцом». Теперь от него осталась лишь груда развалин. Строительство дворца поочередно вели Август, Тиберий, Калигула, Нерон^[72]; сейчас на этом месте лежат камни, покрытые буйно разросшейся травой: так природа еще раз восторжествовала над творением человека, утешая его красотой своих цветов за причиненные ею разрушения. В эпоху царей, а потом и республики роскошью отличались только общественные сооружения; частные здания были очень малы и скромны. Цицерон, Гортенсий, Гракхи – все они имели дома на Палатинском холме, где позже, во времена упадка Рима, едва хватало места для чертогов одного человека^[73]. В последние века своей истории римский народ превратился в безымянную толпу, известную лишь по имени ее правителя: тщетно мы бы стали искать на Палатинском холме два лавровых дерева, посаженных перед дворцом Августа, – одно в честь военных успехов, другое в честь процветания мирных искусств: оба исчезли бесследно.

На Палатинском холме еще осталось несколько комнат от бань Ливии^[74]; там показывают следы от драгоценных камней, украшавших по тогдашнему обычаю потолки; там же можно любоваться превосходно сохранившеюся стенною росписью: удивляющие своею устойчивостью краски, выдержанные в полутонах, словно приближают к нам минувшие века. Если правдиво предание, что Ливия сократила дни Августа^[75], то свой вероломный замысел она, очевидно, исполнила в одной из этих горниц; и может быть, последний взгляд владыки мира, погибшего на супружеском ложе, упал на прелестные цветы, уцелевшие до нашего времени на этих фресках. Что тогда думал о своей жизни и всем ее пышном великолепии этот немощный старец? О чем вспоминал он: о своей славе или о проскрипциях^[76]? С надеждой или со страхом ждал он перехода в будущий мир? И кто знает, не витает ли еще и теперь под этими сводами предсмертная мысль властелина вселенной, предсмертная мысль, открывающая человеку все, чего он раньше не ведал.

На Авентинском холме больше, чем на других, сохранилось следов раннего Рима. Против дворца Тиберия – руины храма Свободы, выстроенного отцом Гракхов. У подножья Авентинского холма стоял храм Фортуны, защитницы мужчин, сооруженный Сервием Туллием в благодарность богам за то, что, рожденный рабом, он стал царем. За городской стеной мы можем увидеть сейчас остатки храма Фортуны, защитницы замужних женщин, воздвигнутого в память того, что Ветурия остановила Кориолана^[77]. Яникульский холм, возвышающийся напротив Авентинского, был захвачен войском Порсенны^[78]. При виде этого Гораций Коклес^[79] велел разобрать за собой мост, который вел с Яникула в Рим. Фундамент этого моста еще цел до сих пор; на берегу Тибра находится триумфальная арка из кирпича: она столь же проста, сколь велико событие, о котором она напоминает. Говорят, что она построена в честь Горация Коклеса. Посредине реки виднеется островок, образовавшийся из снопов пшеницы, собранной с полей Тарквиния^[80]; эти снопы долго лежали в воде: римский народ не хотел ими воспользоваться, опасаясь навлечь на себя несчастье. Трудно себе представить, чтобы в наши дни люди отказались от богатства лишь потому, что над ним тяготеет проклятие, хотя бы и очень страшное.

На том же Авентинском холме находились храмы Целомудрия патрициев и Целомудрия плебеев. У подошвы холма высится храм Весты, сохранившийся почти целиком, хотя раз-

ливы Тибра нередко грозили ему бедой. Невдалеке от него видны обломки долговой тюрьмы, где произошел известный всем случай, послуживший высоким примером дочерней привязанности^[81]. В этом же самом месте Клелия^[82] и ее подруги, отданные в заложницы Порсенне, переплыли Тибр, чтобы вернуться к римлянам. Авентинский холм столь же прекрасен, как и воспоминания, связанные с ним; душа отдыхает при виде его после тяжелых впечатлений, произведенных другими холмами. Берег реки, омывающей его подножье, получил название «красивого берега» (*pulchrum littus*). Здесь прогуливались римские ораторы, возвращаясь с Форума, здесь запросто, как обыкновенные граждане, встречались друг с другом Цезарь и Помпей, желавшие склонить на свою сторону Цицерона^[83], чье блистательное красноречие они ценили больше, чем даже мощь своих армий.

Поэзия тоже украсила собой эти места. На Авентинском холме Вергилий поместил пещеру Какуса^[84]; героические вымыслы, которыми поэты окружили легендарное происхождение римлян, не менее, чем их доблестное прошлое, послужили славе великого народа. Наконец, спускаясь с Авентинского холма, нельзя не заметить дом Кола ди Риенци^[85], который сделал тщетную попытку возродить дух античности в новые времена; и хотя это и не столь важное событие по сравнению с другими, все же оно заставляет глубоко задуматься.

На Целийском холме привлекают к себе внимание остатки казарм для преторианцев и солдат-иноземцев. На развалинах здания, сооруженного для иноземных солдат, сохранилась надпись: «Священному духу иноземных военных лагерей». Воистину этот дух был священным для тех, кому служили иноземцы! Остатки древних казарм свидетельствуют о том, что их строили наподобие монастырей или, вернее сказать, монастыри строили по их образцу.

Эсквилинский холм называли прежде «холмом поэтов»: там выстроил себе дом Меценат^[86], там жили Гораций, Проперций, Тибулл. Недалеко оттуда – развалины терм Тита и Траяна. Предполагают, что моделью для арабесок Рафаэля послужили фрески из терм Тита^[87]. В этих же термах обнаружили скульптурную группу Лаокоона. Ощущение свежести, испытываемое во время омовения, настолько приятно в странах с теплым климатом, что древние римляне любили роскошно украшать свои бани, помещая там все, что могло радовать самое прихотливое воображение. Там выставляли чудесные произведения скульптуры и живописи, но разглядывать их приходилось при свете масляных ламп: особое устройство зданий не позволяло проникать туда дневному свету. Римляне таким образом старались уберечься от жгучих лучей южного солнца, которые называли «стрелами Аполлона» – очевидно, за их беспощадную силу. Судя по мерам, принимавшимся против опасного действия солнца, в древнем Риме был более жаркий климат, чем сейчас. Геркулес Фарнезский, Флора Фарнезская и группа Дирке^[88] были найдены в термах Каракаллы. Недалеко от Остии, в банях Нерона, был найден Аполлон Бельведерский^[89]. Трудно поверить, чтобы при взгляде на эту прекрасную статую в душе у Нерона не пробудилось хоть на миг доброе чувство.

Единственные сооружения, служившие в Риме для увеселений и от которых еще сохранились следы, – это термы и цирки. От театров же ничего не осталось, кроме развалин театра Марцелла^[90]. Плиний рассказывает^[91], что в одном театре, выстроенном лишь на несколько дней, насчитывалось триста шестьдесят мраморных колонн и три тысячи статуй. Римляне возводили настолько прочные здания, что их не разрушали землетрясения; но иногда они забавлялись тем, что, затратив огромные усилия на какую-нибудь постройку, сами сносили ее по окончании праздников: так римляне смеялись над временем. К тому же они не разделяли страсти греков к драматическим представлениям; изящные искусства достигли у них расцвета лишь при посредстве греческих мастеров, и величие Рима выражалось не столько в творениях фантазии, сколько в безмерном великолепии архитектуры. В этой неслыханной роскоши, в этом сказочном богатстве заключалось гордое достоинство: оно уже не было символом свободы, но всегда говорило о могуществе.

Монументальные украшения, предназначавшиеся для римских общественных бань, свозились туда из провинций; в банях было собрано все, что производилось и изготовлялось всей страной. Цирк, известный под именем *Circus maximus*⁹, остатки которого еще уцелели и сейчас, находился рядом с Дворцом цезарей, и Нерон прямо из своих окон подавал сигнал к началу представлений. Цирк был так велик, что в нем свободно помещалось триста тысяч зрителей: таким образом, почти все население Рима могло одновременно развлекаться. Эти грандиозные зрелища можно считать общенародными установлениями, объединявшими людей для забавы, как некогда объединялись все люди для славных деяний.

Квиринальский и Виминальский холмы так тесно примыкают друг к другу, что трудно различить их границу; тут находились дома Саллюстия^[92] и Помпея, а в новое время папа избрал это место для своей резиденции. В Риме нельзя шагу ступить, чтобы не сблизить минувшее с настоящим, равно как и различные прошедшие эпохи – между собой. Но когда созерцаешь эту вечную смену судеб человечества, учишься спокойно принимать события своего времени: перед лицом стольких столетий, истребивших плоды трудов предшествующих поколений, становится стыдно предаваться мелочным тревогам повседневной жизни.

Подле семи холмов, на их склонах, на вершинах – повсюду вздымаются бесчисленные колокольни, обелиски, колонна Траяна, колонна Антонина, башня Конти, с которой Нерон, по преданию, любовался пожаром Рима^[93], и, наконец, – господствующий над всем городом купол собора Святого Петра. Так и кажется, что все эти вышки, возносящиеся в небо, парят в воздухе и что над земным городом величаво простирается другой город – воздушный.

Возвращаясь домой, Коринна прошла с Освальдом под портиком Октавии – женщины, столь сильно любившей и столь много страдавшей^[94]; потом они пересекли «Проклятую дорогу»^[95], по которой проехала нечестивая Туллия, попирая труп своего отца копытами коней; отсюда виднеется вдалеке храм, воздвигнутый Агриппиной в честь Клавдия^[96], отравленного по ее приказанию; наконец, следуя той же дорогою, они миновали гробницу Августа, за внутренней оградой которой можно сейчас видеть площадку, служившую некогда ареной для боя хищных зверей^[97].

– Я повела вас в очень краткое путешествие по следам античной истории, – сказала Коринна лорду Нельвилю, – но вы поймете теперь, сколько наслаждений сулят подобные изыскания – ученые и вместе с тем поэтические: они говорят равно воображению, как и уму. В Риме есть немало почтенных людей, посвятивших себя поискам новых соотношений между историей и древними руинами.

– Я бы не нашел для себя занятия более увлекательного, – ответил Нельвиль, – будь у меня достаточно душевного спокойствия; такого рода изучение истории воодушевляет гораздо больше, чем изучение по книгам: можно сказать, что перед тобой оживает то, что тебе открывается, и минувшее восстает из пепла, под которым оно было погребено.

– Без сомнения, – прибавила Коринна, – страсть к изучению античности – это не пустая причуда. Мы живем в такой век, когда почти всеми поступками людей руководит личный интерес. Но разве может когда-нибудь личный интерес породить сочувствие, вдохновение, энтузиазм? И как сладостно возвращаться в мечтах к тем дням истинной преданности, самоотвержения, героизма! ведь были же они в самом деле, ведь их величавые следы и поныне хранит наша земля!

⁹ Большой цирк (лат.).

Глава шестая

Коринна втайне надеялась, что она завоевала сердце Освальда, но, зная его сдержанность и строгость его правил, не осмеливалась открыто выказать ему свое расположение, хотя не в ее натуре было скрывать свои чувства. Может быть, ей казалось, что, когда они вели беседу между собой даже о предметах совершенно посторонних, звук голосов выдавал их взаимную склонность, а в их взорах, говоривших на том неясном и чуть грустном языке, который столь глубоко проникает в душу, таилось молчаливое признание в любви.

Однажды утром, когда Коринна готовилась к обычной прогулке с Освальдом, она получила от него записку, в которой он довольно сухо уведомлял ее, что занемог и на несколько дней прикован к дому. Какое-то мучительное беспокойство сжало сердце Коринны; сначала она испугалась, не опасно ли он заболел; но граф д'Эрфейль, которого она увидела в тот же вечер, сказал ей, что у Освальда приступ меланхолии, какой он бывает подвержен, и что в такое время он ни с кем не хочет говорить.

– Даже я, – прибавил граф д'Эрфейль, – не вижусь с ним, когда он в подобном состоянии.

Это «даже я» не слишком понравилось Коринне, но она остереглась выразить неудовольствие единственному человеку, от кого могла хоть что-нибудь узнать о лорде Нельвиле. Она принялась его расспрашивать, надеясь, что человек столь легкомысленный – по крайней мере с виду – не преминет сообщить ей все, что ему известно. Но то ли он решил под маской таинственности скрыть от Коринны, что Освальд не доверяет ему своих секретов, то ли почел более благопристойным уклониться от ответа, – как бы там ни было, жгучее любопытство Коринны натолкнулось на непоколебимое молчание. Коринна, всегда подчинявшаяся своему влиянию собеседника, не могла понять, почему вся сила ее убеждения не оказывает действия на графа д'Эрфейля: или она позабыла, что нет ничего на свете более упрямого, чем самолюбие?

Как еще могла Коринна узнать о том, что происходило в душе у Освальда? Написать ему? Но как много предосторожностей надобно соблюдать в письме, а в Коринне милее всего были ее искренность и простота! Прошло уже три дня, как она не видела его, и сердце ее изнывало в смертной тоске. «Что я сделала, – спрашивала она себя, – чтобы так оттолкнуть его? Ведь я не говорила ему о своей любви, я не совершила этой ошибки, за которую так жестоко карают в Англии и так охотно прощают в Италии. Догадался ли он? Но отчего же тогда он должен потерять ко мне уважение?»

Между тем Освальд отдалился от Коринны только потому, что слишком живо почувствовал все возрастающую власть ее обаяния. Правда, он не давал слова жениться на Люсиль Эджермон, но знал, что отец прочил ему ее в жены, и Освальд желал выполнить волю покойного. К тому же настоящее имя Коринны никому не было известно и она несколько лет вела слишком независимый образ жизни; женитьба на ней (лорд Нельвиль был уверен в этом) не получила бы одобрения отца, и сын отлично понимал, что не таким путем мог бы искупить свою вину перед ним. Вот каковы были причины, заставившие Освальда отдалиться от Коринны. Он принял решение покинуть Рим и перед отъездом объяснить с Коринной в письме, рассказав ей о том, что побудило его так поступить; однако у него не хватило сил выполнить свое намерение, и он ограничился тем, что перестал бывать у Коринны, хотя уже на другой день эта жертва показалась ему чересчур тяжелой.

Коринну ужасала мысль, что она более не увидит Освальда и он уедет, не простившись с ней. Каждую минуту она ожидала услышать известие о его отъезде, и непрерывный страх так разжег ее чувства, что страсть уже вонзила свои ястребиные когти в ее душу, – страсть, которая губит и счастье, и независимость человека. Коринне опостылел ее дом, где Освальд уже не бывал, и она часто бродила по римским садам, надеясь там встретить его. В такие часы

ей бывало легче: выбирая дорожки наугад, она подстерегала счастливый случай, который дал бы ей возможность увидеть его. Пламенное воображение Коринны было источником ее дарования; но, к несчастью, соединяясь с ее способностью жить глубокими чувствами, оно приносило ей и мучения.

Прошло уже четверо суток со времени жестокой разлуки Коринны с Освальдом. Светила полная луна. Рим прекрасен в ночном безмолвии, когда чудится, будто он обитаем лишь великими тенями! Возвращаясь от своей приятельницы, подавленная горем, Коринна вышла из коляски, чтобы немного отдохнуть у фонтана Треви: этот могучий водомет, взвиваясь каскадом, шумит в самом центре Рима и кажется душою тихой маленькой площади. Когда же случается этому фонтану умолкнуть на несколько дней, то можно подумать, что весь Рим пришел в оцепенение. Если в других городах слух нуждается в привычном стуке колес, то в Риме нельзя жить без рокота этого грандиозного фонтана, неустанно сопровождающего мечтательное существование, которое там ведешь. Лицо Коринны отразилось в воде, такой чистой, что ее веками называли «Водой девы»^[98]. Освальд, остановившийся на том же самом месте минуту спустя, заметил в воде прелестный облик своей подруги. Его охватило бурное волнение, и в первый момент он подумал: уж не игра ли это воображения, вызвавшего перед ним образ Коринны, как оно не раз вызывало образ его отца? Он наклонился к бассейну, чтобы лучше разглядеть, и рядом с чертами Коринны появились его черты. Она узнала его, вскрикнула и, бросившись к нему, схватила его за руку, словно боялась, что он снова исчезнет; но едва она отдалась своему неудержимому порыву, как вспомнила о характере лорда Нельвиля и покраснела, удивившись, что слишком пылко выказала свои чувства; она отдернула руку, которую Освальд задержал в своей, и закрыла лицо руками, чтобы он не видел ее слез.

– Коринна, – сказал Освальд, – дорогая Коринна! Так мое отсутствие причинило вам горе?

– О да! – ответила она. – И вы это знали. Зачем вы заставили меня страдать? Разве я это заслужила?

– Нет! – воскликнул лорд Нельвиль. – Конечно нет! Но если я не считаю себя свободным, если сердце мое полно беспокойства и раскаяния, зачем мне и вас подвергать этим мукам? Зачем...

– Поздно, – перебила его Коринна, – слишком поздно! Тяжкий недуг уже овладел мною: пощадите меня!

– Тяжкий недуг овладел вами! – воскликнул Освальд. – Вами, которая занимает столь блестящее положение, пользуется таким успехом, наделена таким богатым воображением?

– Полно! – ответила Коринна. – Вы меня не знаете: из всех способностей, какими я наделена, самая развитая – это способность страдать. Я рождена для счастья, у меня открытый характер и живое воображение; но страдание доводит меня до иступления, оно может помутить мой разум, заставить наложить на себя руки. Еще раз прошу вас, пощадите меня! Я только с виду кажусь живой и веселой: в глубине моей души таится безмерная печаль, и я бы могла спастись от нее, лишь избегая любви.

Выражение, с каким Коринна произнесла эти слова, взволновало Освальда.

– Я приду к вам завтра утром, – сказал он. – Поверьте мне, Коринна!

– Вы клянетесь мне в этом? – спросила она с тревогой, которую тщетно пыталась скрыть.

– Да, я клянусь вам! – ответил лорд Нельвиль и удалился.

Книга пятая

Гробницы, церкви и дворцы

Глава первая

Наутро Освальд и Коринна встретились в полном смущении. У Коринны уже не было прежней уверенности, что она внушала ему любовь. А Освальд был недоволен собой; он сознавал, что в его характере была известная слабость, побуждавшая его порой восставать против собственных правил, как против несносной тирании. Они решили не касаться в разговоре своих взаимных чувств.

– Сегодня я предлагаю вам, – начала Коринна, – совершить довольно печальную экскурсию, но я думаю, что она вам покажется интересной. Мы поедем осматривать гробницы – последний приют тех, кто жил среди памятников, которые вы видели в развалинах.

– О, вы угадали, – ответил Освальд, – что сегодня подходит к моему настроению.

Он сказал это таким горестным тоном, что Коринна умолкла и некоторое время не осмеливалась заговорить с ним. Но желание облегчить ему душевную муку и развлечь его рассказом о том, что им предстоит вместе увидеть, придало ей храбрости.

– Вы, конечно, знаете, милорд, – продолжала Коринна, – что древние отнюдь не считали, будто вид погребальных памятников наводит уныние. Напротив, гробницы воздвигали на больших дорогах как раз для того, чтобы, напоминая юношеству о знаменитых согражданах, они вселяли в него дух соревнования и безмолвно приглашали следовать великим примерам.

– О, как я завидую тем, – со вздохом проговорил Освальд, – кто может скорбеть о своих близких, не испытывая при этом угрызений совести.

– Угрызений совести! – в изумлении повторила Коринна. – Могут ли у вас быть угрызения совести? Ах, я уверена, что ваши душевные муки только следствие вашей добродетели: вы слишком строги к себе, вы слишком тонко чувствуете.

– Коринна, Коринна, – перебил ее Освальд, – лучше не касайтесь этого предмета! В вашей благодатной стране, под вашим лучезарным небом исчезают все тяжелые думы, а у нас тоска, закравшаяся в сердце, губит всю нашу жизнь.

– Вы неверно судите обо мне, – отвечала Коринна, – я говорила вам, что рождена для счастья, но я бы страдала больше вас, если бы...

Она запнулась и поспешила переменить разговор.

– У меня лишь одно желание, милорд, – сказала она, – это развлечь вас хоть на мгновение; больше я ни на что не надеюсь.

Смирение, с каким были сказаны эти слова, тронуло лорда Нельвиля; заметив, как затуманились глаза Коринны, всегда полные жизни и огня, он упрекнул себя в том, что опечалил женщину, созданную для ярких и радостных впечатлений. Он попытался разогнать ее грусть, но она была так озабочена его планами на будущее и возможным его отъездом, что обычная ясность духа уже больше не возвращалась к ней.

Коринна и лорд Нельвиль поехали за город – туда, где посреди Римской Кампании некогда проходила Аппиева дорога^[99]. На древние следы этой дороги указывают надгробия, тянущиеся по обеим ее сторонам, покуда хватает глаз, на расстоянии нескольких миль от городских ворот. Римляне запрещали погребения внутри города: исключение из этого правила делалось только для императорских усыпальниц. Впрочем, некий простой гражданин Публий Библий был удостоен этой чести за какие-то неведомые заслуги. Пожалуй, именно такие заслуги охотнее всего почитаются современниками.

Аппиева дорога идет от врат Святого Себастьяна, прежде называвшихся Капенскими воротами. Цицерон говорил, что при выходе из этих ворот первыми виднелись фамильные склепы рода Метеллов, Сципионов и Сервилиев. Гробница одного из Сципионов^[100], найденная в этих местах, была перенесена в Ватикан. Когда переносят прах покойников и трогают руины, то совершают нечто похожее на святотатство. Моральное начало крепче держится в сознании людей, чем это можно предположить, и не следует его оскорблять. Среди множества гробниц, привлекающих к себе внимание на Аппиевой дороге, попадаются и такие, на которых имена усопших начертаны наугад, ибо невозможно было проверить их правильность; но и самая эта неизвестность вызывает волнение и не позволяет спокойно проходить мимо них. Некоторые из этих гробниц крестьяне превратили в жилища: римляне воздвигали просторные постройки над урнами своих друзей и именитых сограждан. Им был чужд тот бесплодный принцип утилитарности, при котором предпочитают несколько лишних клочков возделанной земли обширному миру чувств и воображения.

Невдалеке от Аппиевой дороги высится храм, который республика воздвигнула Чести и Доблести, а немного поодаль виден другой храм – он посвящен богу, внушившему Ганнибалу повернуть свои стопы обратно^[101]; там же находится источник нимфы Эгерии^[102], куда Нума приходил спрашивать совета у божества, особенно почитаемого добропорядочными людьми, – у совести, с которой ведут беседу наедине с собой. Кажется, что близ гробниц на Аппиевой дороге все говорит лишь о римской добродетели. Века преступлений не оставили следов в этих местах, где покоятся славные мужи древности: самый воздух, окружающий их, точно дышит благоговением и благородными, ничем не омраченными воспоминаниями.

Облик Римской Кампании на редкость своеобразен: это, конечно, пустыня, где нет ни деревьев, ни селений; но земля там покрыта буйным, взращенным природой, зеленым покровом. Выющиеся растения оплетают гробницы и, украшая развалины, живут словно лишь для того, чтобы воздавать почести мертвым. С тех пор как Цинциннаты перестали ходить за плугом^[103], бороздя лоно земли, кажется, будто она надменно отвергла труды человека; земля рождает здесь щедро, без счета, не позволяя людям, однако, вкушать от ее плодов. Эта невозделанная равнина, конечно, не радует взоров земледельцев, государственных деятелей – всех тех, кто, извлекая доход из земли, обрабатывает ее ради потребностей и нужд человеческих; но души, погруженные в мечтания, – те, кого мысль о смерти занимает не меньше, чем мысль о жизни, находят отраду в созерцании Римской Кампании, лишенной малейшей приметы современного века, – этой земли, которая в нежной заботе о покойных покрывает гробницы бесполезными травами и бесполезными цветами; и эти растения стелются всегда понизу, никогда не поднимаясь кверху, словно из опасения расстаться с прахом, который они будто ласкают.

Освальд согласился с Коринной, что в этом месте больше, чем где-либо, можно наслаждаться душевным покоем. Сердце не терзает здесь так сильно печальные образы, беспрестанно встающие перед мысленным взором страждущего; здесь словно разделяешь вместе с ушедшими радость, которую дарят и этот воздух, и это солнце, и эта зелень. Коринна заметила, какое впечатление произвела Кампания на Освальда, и в душе у нее зародилась надежда. Она не обольщала себя мыслью, что сможет утешить Освальда в его горе; да она и не стремилась вовсе изгладить из его сердца скорбь, столь естественную при потере отца; но она знала, что и в самой скорби есть нечто благотворное, успокаивающее, и надо стараться внушить это тем, кто ведает лишь горечь утраты: только так можно помочь им.

– Остановимся подле этой гробницы, – предложила Коринна, – единственной, почти не тронутой временем. Здесь покоятся останки не знаменитого римлянина, а юной Цецилии Метеллы^[104], и памятник этот ей поставил отец.

– О, как счастливы дети, которые умирают в объятиях своих отцов, – сказал Освальд, – они встречают свой конец на груди тех, кто даровал им жизнь. Сама смерть уже тогда не страшна.

– Да, – с волнением подхватила Коринна, – счастливы те, кто не остался сиротами. Смотрите: на этой гробнице изображено оружие, хоть здесь и похоронена женщина, но дочери героев имеют право на то, чтобы их могилы украшали трофеями отцов: какое прекрасное соединение невинности и мужества! У Проперция есть элегия, лучше всех произведений античной поэзии рисующая нравственные достоинства римлянок – еще более высокие и чистые, чем те, какие вызывали такое преклонение перед женщинами в эпоху рыцарства. Корнелия умирает во цвете лет и, необычайно трогательно прощаясь с мужем, обращает к нему слова утешения, и почти в каждом ее слове чувствуется, как святы и почитаемы были тогда брачные узы. Эти величавые латинские стихи, суровые и возвышенные, созданные властелинами мира, проникнуты благородной гордостью за безупречно прожитую жизнь. «Да, – говорит Корнелия, – ни одно пятно не легло на мою жизнь от факела Гименея и до погребального костра: я прожила чистою между этими двумя светильниками»^[105].

– Как это чудесно выражено! – воскликнула Коринна. – Какой возвышенный образ! И как достоин зависти удел женщины, которая собрала нерушимым свой семейный очаг и унесла в могилу лишь одно-единственное воспоминание! Этого достаточно для целой жизни!

Коринна умолкла, и на глазах у нее показались слезы; какое-то тяжелое чувство вдруг охватило Освальда: ужасное подозрение шевельнулось в его душе.

– Коринна, – вскричал он, – Коринна! Неужели и вы можете в чем-нибудь упрекнуть себя? Если бы я мог располагать собой, если бы я мог предложить вам свою жизнь – не имел ли бы я соперников в прошлом? Был ли бы я вправе гордиться своим выбором? не омрачила ли бы мое счастье жестокая ревность?

– Я свободна, – ответила Коринна, – и люблю вас так, как никогда никого не любила. Чего же вы еще хотите? Неужто надо меня вынуждать признаться вам в том, что прежде, чем я вас узнала, я прельстилась обманчивой мечтой? Разве нет в человеческом сердце кроткого снисхождения к ошибкам, совершенным под влиянием чувства или хотя бы иллюзии чувства?

При этих словах лицо ее покрылось легким румянцем. Освальд затрепетал, но не промолвил ни слова. Во взгляде Коринны было такое смиренное раскаяние, что он не посмел ее строго судить; ему показалось, что само небо озарило ее своим лучом, отпустив ей вину. Он взял ее руку, прижал к груди и опустил перед ней на колени; он молчал, не давал никаких обетов, но его любящий взгляд обещал все.

– Послушайте меня! – сказала Коринна лорду Нельвилю. – Не надо задумываться о том, что будет. Самые счастливые минуты, выпадающие нам в жизни, – эта те, какие дарит нам благословенный случай. Да неужели можно здесь, среди этих гробниц, предаваться размышлениям о будущем?

– Нет, – воскликнул лорд Нельвиль, – нет! и я не верю, что будущее сможет разлучить нас. Четыре дня нашей разлуки показали мне, что я живу только вами.

Коринна ничего не ответила на эти пылкие слова, но с каким-то молитвенным благоговением заключила их в своем сердце; она боялась продолжить этот разговор, больше всего на свете занимавший ее, чтобы не заставить Освальда высказаться о своих намерениях, прежде чем сила длительной привычки сделает невозможным его отъезд. Иногда она даже умышленно направляла его внимание на посторонние предметы, подобно султанше из арабских сказок, которая хотела увлечь любимого тысячами разных рассказов и отдалить решение своей участи, доколе чары ее ума не одержат окончательной победы над его сердцем.

Глава вторая

Неподалеку от Аппиевой дороги Освальд и Коринна остановились, чтобы осмотреть один из колумбариев, в которых хоронили рабов вместе с господами и где под общими сводами покоились останки всех домочадцев, живших милостями своего покровителя или покровительницы. Так, например, подле урны Ливии^[106] тянется ряд урн поменьше с прахом ее прислужниц, которые заботились о ее красоте и воевали с неумолимою силою времени, оспаривая у него прелести своей повелительницы. Кажется, будто целое сонмище безвестных усопших окружило одну знаменитую покойницу, столь же безгласную, как и вся ее свита! На некотором расстоянии от этого колумбария простирается поле, где зарывали живыми в землю весталок, изменивших своему обету^[107]; странная черта фанатизма в религии, отличавшейся в основе своей терпимостью!

— Я не поведу вас в катакомбы, — сказала Коринна лорду Нельвилю, — хотя по странной случайности они расположены как раз под Аппиевой дорогой, так что одни могилы покоятся над другими. Эти убежища преследуемых за веру христиан так мрачны и страшны, что я бы не решилась спуститься туда еще раз: там не ощущаешь той умиротворяющей печали, которая нисходит на душу близ мест погребения под открытым небом. В катакомбах видишь темницу рядом с могилой, там мерещатся пытки рядом с ужасом смерти. Конечно, мы преклоняемся перед людьми, которые были охвачены таким религиозным экстазом, что смогли обречь себя на жизнь под землей, расставшись с природой и солнечным светом; но наша душа в подземелье томится, ничто там не радует ее. Человек — частица творения: он должен жить в нравственном согласии со всем мирозданием и включиться во всеобщий порядок вещей; могучие и внушающие ужас исключения из этого миропорядка поражают нас, но душа, находясь в обычном своем состоянии, не находит в этом ничего для себя утешительного. Пойдемте-ка лучше, — прибавила Коринна, — посмотрим пирамиду Цестия!^[108] Около нее хоронят всех протестантов, скончавшихся в Риме. Это тихий уголок: все там дышит терпимостью и благожелательством.

— Да, — ответил Освальд, — многие из моих соотечественников нашли там себе место вечного упокоения. Пойдемте туда! Быть может, таким образом я не покину вас никогда.

Коринна встrepенулась при этих словах, и рука ее, опиравшаяся на руку Освальда, задрожала.

— Я лучше себя чувствую, — продолжал он, — гораздо лучше себя чувствую с тех пор, как узнал вас.

Лицо Коринны осветилось обычным ее выражением мягкой и нежной радости.

Цестий ведал при жизни празднествами римлян; его имя не вошло в историю, но гробница прославила его. Массивная пирамида, укрывшая прах Цестия, спасла его смерть от забвения, в которое канула его жизнь. Аврелиан, боясь, чтобы враги не использовали эту пирамиду как крепость при нападении на Рим, повелел включить ее в городскую стену, которая существует и ныне, но не как бесполезная руина, а как ограда современного города^[109]. Полагают, что форма пирамиды возникла из подражания огненным языкам, поднимающимся над кострами. Верно это или нет, но таинственная форма пирамиды и в самом деле влечет к себе взоры, придавая живописный вид любой местности. Против пирамиды Цестия возвышается Тестацейская гора: она изобилует удивительно прохладными пещерами, и в летнее время в них устраиваются пиршества. Близость погребальных памятников никогда не смущает веселия в Риме. Пинии и кипарисы, чернеющие то тут, то там среди жизнерадостной природы Италии, тоже наводят на торжественно-скорбные размышления, но этот контраст производит такое же действие, что и стихи Горация^[110]:

.....Moriture Delli,

.....
Linquenda tellus, et domus, et placens
Uxor...¹⁰ —

среди других его стихов, воспевающих наслаждения жизни. Древние всегда находили особую прелесть в мысли о смерти, к ней они обращались в любви и в веселье, и сознание быстротечности жизни заставляло их еще сильнее ощущать ее радости.

Коринна и Освальд возвращались домой после осмотра гробниц берегом Тибра. Когда-то он был усеян кораблями, по обеим его сторонам тянулись дворцы; даже в разливах его искали важных знамений: то была река-пророчица, река-божество, охраняющая Рим. Теперь Тибр течет словно в царстве теней – так пустынны его берега, так свинцово-мутны его воды! Прекраснейшие сокровища искусства, чудеснейшие статуи были брошены в него и исчезли в его волнах. Кто знает, не отведут ли когда-нибудь в сторону русло Тибра, чтобы их разыскать? При одной мысли о том, что лучшие создания человеческого гения, быть может, лежат здесь так близко от нас, и кто-то другой, более зоркий, чем мы, быть может, увидит когда-нибудь их сквозь воду, испытываешь неизъяснимое волнение, которое никогда не утихает в Риме, где все предметы – немые в других местах – ведут с нашей душой неумолкаемый разговор.

¹⁰ Деллий, должно умереть... Должно покинуть землю, и твой дом, и твою дорогую супругу (лат.).

Глава третья

Рафаэль говорил, что новый Рим почти полностью вырос из обломков древнего города; и действительно – там и шагу ступить нельзя, не остановившись в изумлении перед остатками античности. Сквозь следы, наложенные столетиями, различаешь «вечные стены», как назвал их Плиний; печать истории лежит почти на всех римских постройках, и по ним можно проследить, как изменялся лик веков. Со времени этрусков – народа еще более древнего, чем римляне, создававшего, подобно египтянам, прочные памятники и причудливые изображения, – со времен этрусков до жеманного шевалье Бернини, близкого по манере итальянским поэтам XVII века^[111], и вплоть до наших дней мы повсюду в Риме улавливаем черты присущего ему духа: в архитектуре, в руинах, в характере различных искусств. Средневековые и блестящая пора Медичи^[112] воскресают перед нами в произведениях старых художников; подобное изучение прошлого при помощи зримых предметов дает нам возможность проникнуть в душу эпохи. Есть предположение, что Рим когда-то носил другое – таинственное имя, известное лишь немногим посвященным. Вероятно, и сейчас надобно приобщиться к тайнам этого города. Это не просто скопление домов, – это история мира, олицетворенная в различных эмблемах, представленная в различных формах.

Коринна уговорила с лордом Нельвилем, что сначала они осмотрят любопытные здания нового Рима, а знакомство с чудесными собраниями картин и статуй отложат до другого раза. Коринна, быть может безотчетно, желала как можно дольше оттянуть осмотр выдающихся произведений, без которого немислимо покинуть Рим: кто же уезжал из этого города, не повидав Аполлона Бельведерского и картин Рафаэля? Как ни слаба была эта надежда, но мысль, что Освальд побудет еще немного в Риме, успокаивала Коринну. Но тут могут спросить: а есть ли гордость у женщины, которая хочет удержать любимого иными средствами, чем средствами любви? Не знаю; но чем больше любишь, тем меньше веришь, что внушаешь к себе подобное же чувство, и с радостью хватаешься за любой предлог, чтобы заставить дорогого человека остаться подле тебя. В известного рода гордости всегда есть немалая доля тщеславия; однако к пленительным свойствам Коринны, покоряющим сердца, принадлежало как раз и то достоинство, что она гордилась не тем, что внушала к себе любовь, а тем, что любила сама.

Коринна и Освальд возобновили свои прогулки по Риму, начав с посещения наиболее замечательных из многочисленных городских церквей. Все они убраны остатками былого античного великолепия, но нечто странное и сумрачное мерещится в этом прекрасном море, в этих пышных украшениях, похищенных из языческих храмов. В Риме осталось от прошлых веков такое множество гранитных и порфировых колонн, что их совсем не щадили, не придавая им цены. В церкви Святого Иоанна Латеранского, прославленной происходившими в ней Вселенскими соборами, было такое огромное количество мраморных колонн, что часть из них облили гипсом и превратили в пилястры: чрезмерность богатства породила равнодушие к нему.

Одни из этих колонн окружали гробницу Адриана, другие – Капитолий; последние сохранили еще на своих капителях фигурки гусей, спасших римский народ^[113]. На одних колоннах готический орнамент, а на других – арабский. В урне Адриана покоится прах одного из пап: теперь даже умершие уступают места другим покойникам и гробницы почти так же часто меняют своих хозяев, как дома – живых обитателей.

Близ церкви Святого Иоанна Латеранского находится святая лестница^[114], перенесенная, как говорят, из Иерусалима в Рим. Как того требует обычай, по ней поднимаются только на коленях. Сам Юлий Цезарь и Клавдий поднимались на коленях по ступеням, которые вели в храм Юпитера Капитолийского. Рядом с церковью Святого Иоанна Латеранского находится часовня, где, по преданию, крестили Константина. Посреди площади перед церковью высится

обелиск^[115] – быть может, самый древний монумент в мире: обелиск – современник Троянской войны! Обелиск, который варвар Камбиз настолько почтил своим уважением^[116], что для его спасения велел прекратить страшный пожар, грозивший гибелью всему городу! Обелиск, ради которого один царь отдал в заложники своего единственного сына! Римляне чудесным образом перевезли его из глубины Египта в Италию^[117]: они отвели русло Нила так, чтобы он донес обелиск на волнах своих к морю. Этот обелиск испещрен иероглифами, которые столько веков хранят свои тайны и по сей день бросают вызов ученым, пытающимся их разгадать. Быть может, эти неразгаданные знаки рассказали бы об индийцах, египтянах, о древнейших из древних народов. Волшебное очарование Рима заключается не столько в самой красоте его памятников, сколько в том живом интересе, какой они возбуждают, – в интересе, возрастающем день ото дня при их изучении.

Одна из самых своеобразных церквей в Риме – это церковь Святого Павла: по внешнему виду она напоминает грубо сколоченный овин, но внутри украшена восемьюдесятью колоннами такого чудесного мрамора и такой совершенной формы, что полагают, будто они принадлежали одному из храмов в Афинах, описанных Павсанием^[118]. Цицерон говорил: «Мы окружены следами истории». Если он так говорил в свое время, что же нам сказать сейчас?

Колонны, статуи и барельефы древнего Рима рассеяны в таком множестве по церквям современного города, что в одной из них (церкви Святой Агнесы) перевернутые на обратную сторону плиты с барельефами служат ступенями для лестницы, и никто не дает себе труда выяснить, что же изображено на них. Какое удивительное зрелище явил бы сейчас Рим, если бы весь этот мрамор – все эти колонны и статуи – поставили на то самое место, где их нашли! Древний город можно было бы восстановить почти целиком, но кто же из наших современников осмелился бы по нему прогуляться?

Дворцы римских вельмож громадны, зачастую прекрасны по своей архитектуре и всегда производят внушительное впечатление; однако их внутреннее убранство редко отличается хорошим вкусом и не идет ни в какое сравнение с изысканностью элегантных гостиных, отвечающих требованиям более развитой светской жизни других стран. Просторные апартаменты римских князей пустынно и безмолвны: беспечные обитатели дворцов предпочитают ютиться в невзрачных комнатках, предоставляя чужестранцам бродить по великолепным галереям, в которых собраны лучшие картины века Льва X. Римская знать в наше время столь же далека от пышной роскоши своих предков, сколь те были чужды добродетелям римлян эпохи республики. Загородные виллы дают еще более яркое представление о том замкнутом образе жизни, какой ведут равнодушные владельцы этих прелестнейших в мире спокойных уголков. Прогуливаясь по этим обширным садам, трудно поверить, что здесь живут их хозяева. Аллеи поросли травой, но деревья в заброшенных аллеях искусно подстрижены по старинной моде, некогда царившей во Франции. Странная прихоть: при полном небрежении к насущным потребностям такое увлечение всем ненужным! В Риме, да и в других городах Италии часто удивляет пристрастие итальянцев к вычурным украшениям, меж тем как перед глазами у них всегда столько примеров благородной античной простоты. Они любят блеск больше, нежели комфорт, изящество и уют. Пользуясь всеми преимуществами жизни, удаленной от общества, римские аристократы терпят, однако, и все ее неудобства. Им хочется скорее поражать воображение роскошью, чем наслаждаться ею; живя обособленно, они не опасаются насмешливых взоров, редко проникающих в их домашние тайны, и при виде контраста между внешним и внутренним обликом дворцов можно подумать, что римская знать, отделявая свои жилища, больше хлопочет о том, чтобы ослеплять прохожих, чем о том, чтобы принимать у себя друзей.

После того как Коринна и Освальд обошли церкви и дворцы, она повела его на виллу Меллини, окруженную уединенным садом, украшением которому служат лишь прекрасные деревья. Оттуда виднеется вдалеке цепь Апеннин; прозрачный воздух окрашивает вершины гор в разные цвета и, как бы приближая их резко обозначенные контуры, придает им причуд-

ливо-живописный вид. Освальд и Коринна помедлили немного в саду, радуясь ясному небу и спокойствию природы. Кто не бывал на Юге, тот не может представить себе этот удивительный покой. В жаркую пору не чувствуется дуновения ветерка; ни былинка не шелохнется в густой траве; даже животные охвачены сладкою ленью, которой все дышит летом: в полдень не слышно ни жужжания мух, ни стрекота цикад, ни пения птиц, никто и ничто не утомляет себя ненужными, скоропреходящими волнениями; все спит до мгновения, пока бури и страсти не разбудят буйную природу, которая с неистовством сбросит с себя цепи покоя.

Множество вечнозеленых растений еще больше усиливает иллюзию вечного лета, какую создает зимой в римских садах мягкий климат. Необыкновенно стройные сосны стоят так близко друг к другу, что их пушистые густые кроны образуют как бы лужайку в воздухе, которая открывается восхищенному взору того, кто поднялся настолько высоко, чтобы это увидеть. Под защитой зеленого свода тянутся вверх более низкие деревья. В Риме растут всего лишь две пальмы, и обе они находятся в монастырских садах: та из них, что виднеется на горе, позволяет издали определять местность, и приятно наблюдать с различных пунктов города эту посланницу Африки, этот образ Юга, еще более пламенного, чем юг Италии, – образ, пробуждающий столько мыслей и новых ощущений.

– Не кажется ли вам, – спросила Коринна, любуясь вместе с Освальдом равниной, простирающейся вокруг них, – что нигде природа не располагает к мечтательности так, как в Италии? Можно сказать, что природа у нас так тесно связана с человеком, что Создатель через нее ведет беседу со своим творением.

– Без сомнения, – ответил Освальд. – Я тоже так думаю; но кто знает, быть может, глубокая нежность к вам, которая живет в моем сердце, помогает мне так живо отзываться на все, что я вижу перед собой; вы открыли мне те мысли и чувства, какие могут быть рождены лишь впечатлениями внешнего мира. Я жил моим сердцем, а вы разбудили мое воображение. Но все очарование мира, которое вы научили меня постигать, не подарит мне ничего более прекрасного, чем ваш взор, ничего более трогательного, чем ваш голос.

– О, если бы чувство, которое я вам внушаю сейчас, продлилось до тех пор, пока я живу, – воскликнула Коринна, – или пусть моя жизнь продлится до тех пор, пока это чувство живет!

Свою прогулку по городу Освальд и Коринна завершили посещением виллы Боргезе^[119], затмившей все сады и дворцы Рима великолепием природы и изысканностью художественных коллекций. В садах виллы Боргезе множество чудесных водоемов и всевозможных пород деревьев. Несравненные статуи, вазы, античные саркофаги, рассеянные на фоне свежей зелени юной природы Юга, производят удивительное впечатление. Так и кажется, что здесь ожили образы античной мифологии. На берегах вод отдыхают наяды, в зеленых рощах застыли нимфы, в прохладной тени деревьев, напоминающей о блаженстве елисейских полей^[120], прячутся гробницы. Посредине одного островка высится статуя Эскулапа; из волн словно поднимается Венера – по этим местам могли бы прогуливаться Овидий и Вергилий, воображая, что они все еще живут в век Августа. Совершенные образцы скульптуры, находящиеся в этом дворце, озаряют его немеркнущим светом. Сквозь ветви деревьев виднеется Рим: собор Святого Петра, окрестные равнины, длинные аркады, развалины акведуков, некогда доставлявших в город воду из горных источников. Все здесь дает пищу уму, воображению, мечтам. Чистейшие чувства, проникнутые душевной радостью, наводят на мысль о полном счастье; однако на вопрос, почему это дивное место необитаемо, обычно отвечают: нездоровый воздух (*la cattiva aria*) не позволяет здесь жить летом.

Нездоровый воздух словно идет приступом на Рим: с каждым годом он завоевывает себе все большее пространство, и люди вынуждены покидать очаровательные пригороды, подпавшие под его власть. Отсутствие деревьев вокруг Рима, несомненно, является одной из причин тлетворности тамошнего воздуха; быть может, поэтому древние римляне посвящали богиням свои леса, желая внушить народу почтение к ним. А теперь нет числа вырубленным лесам:

разве есть в наши дни что-нибудь святое, перед чем остановилась бы человеческая алчность? Нездоровый воздух – бич жителей Рима, он угрожает городу полным опустением; но именно поэтому роскошные сады, расположенные в пределах Рима, имеют еще большее значение. Коварное действие вредоносного воздуха не дает себя знать никакими внешними признаками: когда его вдыхаешь, он кажется чистым и очень приятным, земля щедра и обильна плодами, прелестная вечерняя прохлада успокаивает после дневного палящего зноя, но во всем этом таится смерть!

– Меня влечет к себе, – сказал Освальд, – эта таинственная невидимая опасность, прячущаяся под сладостной личиной. Если смерть – в чем я уверен – призывает нас к более счастливому существованию, то почему бы аромату цветов, тени прекрасных деревьев, свежему дыханию вечера не быть ее вестниками? Конечно, всякое правительство должно заботиться о сохранении жизни людей; но у природы есть свои тайны, постичь которые можно лишь с помощью воображения, и я прекрасно понимаю, почему местные жители и иностранцы не бегут из Рима, хотя жить там в лучшую пору года бывает опасно.

Книга шестая

Нравы и характеры итальянцев

Глава первая

Нерешительность, свойственная натуре Освальда, еще более усугубившаяся его несчастьями, привела к тому, что он стал бояться бесповоротных решений. При своей неуверенности он даже не осмелился спросить у Коринны тайну ее имени и происхождения; однако же любовь его к ней с каждым днем все росла. Он не мог смотреть на нее без волнения; в обществе он с трудом мог заставить себя отойти на мгновение от места, где она сидела; он ловил каждое ее слово; малейшее выражение радости или печали, мелькавшее в ее глазах, отражалось и на его лице. Но как ни любил Освальд Коринну, как ни восхищался ею, он не забывал, насколько подобная женщина чужда всему жизненному укладу англичан, насколько не походит она на тот идеал, какой составил себе его отец, желая найти сыну достойную его супругу; поэтому, разговаривая с нею, он всегда испытывал чувство неловкости и смущения, вызванное постоянными раздумьями.

Коринна все это примечала, но ей было бы так тяжело порвать с лордом Нельвилем, что она сама решила не торопить минуту окончательного объяснения; от природы беззаботная, она была счастлива настоящим, не задумываясь над тем, что из всего этого может произойти.

Она совершенно отказалась от общества, чтобы всецело предаться своей любви к Освальду. Но все же, задетая под конец его молчанием относительно их будущего, она решила принять приглашение на бал, где была чрезвычайно желанной гостьей. Ни к чему в Риме не выказывают такого равнодушия, как к появлению в обществе человека, который недавно по собственной прихоти покинул его: в этом городе менее всего занимаются тем, что в других местах зовут «бабьими сплетнями»; каждый поступает, как ему заблагорассудится, и никого это не заботит – до тех пор, по крайней мере, пока его намерения не придут в столкновение с чьими-нибудь любовными или честолюбивыми интересами. Жителей Рима столь же мало беспокоит поведение их соотечественников, как и поведение иностранцев, которые то приезжают, то уезжают из Вечного города – этого места встречи всех европейцев.

Когда лорд Нельвиль услышал, что Коринна собирается появиться на балу, он был раздосадован. Он полагал, что, сочувствуя ему, она и сама с некоторых пор находится в меланхолическом расположении духа; но вдруг оказалось, что ее охватило желание танцевать – искусство, в котором она особенно блистала, – и что она очень оживилась в ожидании праздника. Коринна отнюдь не была ветреной, но она сознавала, что любовь к Освальду с каждым днем все больше ее поработочает, и вздумала попытаться ослабить силу этого ига. По собственному опыту она знала, что никакие рассуждения и жертвы не воздействуют на пылкие натуры так, как развлечения, и считала, что в подобных случаях надлежит поступать не по принятым правилам, а сообразно своему характеру.

– Ведь мне надобно знать, – говорила она лорду Нельвилю, упрекавшему ее за это намерение, – мне надобно знать, только ли вами полна моя жизнь и может ли сейчас занимать меня то, что так радовало когда-то, или же моя любовь к вам поглотила все мои стремления и помыслы.

– Так вы хотите разлюбить меня? – прервал ее Освальд.

– Нет, – отвечала Коринна, – но только в семейной жизни можно быть счастливой, дыша одною лишь привязанностью. Я же должна развивать мои способности, мой ум и фантазию,

чтобы поддерживать то положение в обществе, какое я избрала себе, а любить так, как я люблю вас, – это значит страдать, и очень сильно страдать.

– И вы бы не пожертвовали ради меня, – спросил Освальд, – всей вашей славой, поклонением, которым вас окружают?

– Вам нет нужды знать, пожертвовала ли бы я этим ради вас, – возразила Коринна. – Раз уж судьба не предназначила нас друг для друга, мне не к чему навеки губить хотя бы то счастье, каким я должна довольствоваться.

Лорд Нельвиль ничего не ответил на это: ведь, признайся он ей в своих чувствах, ему пришлось бы высказаться и о дальнейших своих намерениях, а он сам еще в сердце своем ни на что не решился. Он умолк и со вздохом против воли последовал за Коринной на бал.

Впервые со времени своей тяжелой потери он очутился в многолюдном собрании; праздничный шум причинил ему столь глубокую печаль, что он долго сидел в комнате рядом с бальным залом, склонив голову на руки, не пытаясь даже взглянуть на танцующую Коринну. Он слушал танцевальную музыку, которая, как и всякая музыка, погружает в задумчивость, хотя и создана для веселья. Тут появился и граф д'Эрфейль; он был в полном восторге от бала и многочисленного общества, отчасти напоминавшего ему Францию.

– Я всеми силами старался, – заявил он лорду Нельвилю, – найти хоть что-нибудь интересное в этих развалинах, о которых так много толкуют в Риме, но не вижу ничего замечательного в них: это лишь принято восхищаться обломками, поросшими колючками. Я выскажу свое мнение по этому поводу, когда вернусь в Париж: пришла пора покончить с пресловутым престижем Италии. Любой памятник в Европе, сохранившийся до наших дней, стоит гораздо больше, чем все эти обрубки колонн, эти почерневшие от времени барельефы, которыми можно любоваться, лишь имея известные знания. Удовольствие, купленное ценою стольких трудов, не представляет для меня ничего привлекательного – ведь, чтобы восторгаться спектаклями в парижских театрах, незачем корпеть над книгами.

Лорд Нельвиль промолчал. Граф д'Эрфейль снова спросил, какое впечатление произвел на него Рим.

– В разгаре бала, – сказал Освальд, – не время говорить об этом серьезно, а вам известно, что иначе говорить я не умею.

– В добрый час! – воскликнул граф д'Эрфейль. – Сознаюсь, что я более жизнерадостен, чем вы; но кто знает, может быть, я и мудрее вас? В моем кажущемся легкомыслии – много философии, поверьте мне! Жизнь следует принимать именно так.

– Может быть, вы и правы, – возразил Освальд, – но ведь природа, а не размышления создали вас таким: потому-то ваш образ жизни подходит только вам.

Граф д'Эрфейль услышал имя Коринны, которое громко повторяли в бальном зале, и пошел узнать, что там происходит. Лорд Нельвиль тоже приблизился к двери и увидел князя д'Амальфи, неаполитанца необыкновенной красоты, который приглашал Коринну протанцевать с ним тарантеллу – полный очарования национальный неаполитанский танец. Друзья Коринны просили ее о том же. Она не заставила себя долго упрашивать, весьма удивив тем графа д'Эрфейля, который привык, что тот, кого просят показать свой талант, прежде чем согласиться на это, неоднократно отвечает отказом. Однако в Италии не знают подобного рода жеманства; напротив, всякий, кто хочет понравиться, спешит, не чинясь, выполнить пожелания общества. Но если бы даже в Италии и не было этого милого обычая, Коринна сама бы ввела его. На ней было легкое, очень изящное бальное платье, волосы ее были собраны на итальянский манер в шелковую сетку; глаза, сиявшие живой радостью, придавали ей еще больше прелести, чем обычно. При виде Коринны Освальд смутился; он пытался овладеть собою, возмущенный тем, что снова поддается ее обаянию; он с тоскою глядел на нее: сейчас ей не было дела до него, и красовалась она перед всеми лишь затем, чтобы освободиться от своего чувства к нему. Но кто в силах сопротивляться обольщению красоты? Если даже она и отвергла

его, все равно – власть ее над ним безгранична. А Коринна, конечно, и не думала отвергать его. Заметив лорда Нельвиля, она покраснела, и глаза ее, устремленные на него, засветились обворожительной нежностью.

Князь д'Амальфи танцевал, прищелкивая кастаньетами. Коринна же, прежде чем начать, протянула вперед руки и грациозным поклоном приветствовала присутствующих; затем, сделав легкий поворот, взяла из рук князя д'Амальфи тамбурин. Она пустилась в пляс, размахивая в воздухе тамбурином, и ее гибкие, мягкие движения, полные целомудренной чистоты и вместе с тем страстной неги, напоминали о том, какое неотразимое впечатление производят на индусов баядерки, эти поэтессы в танцах, постигшие искусство выражать столько разнообразных чувств особыми жестами, разворачивая перед взорами зрителей целый свиток волшебных картин. Коринна превосходно знала все танцевальные позы, изображенные античными мастерами в живописи и скульптуре; когда она легким мановением руки поднимала тамбурин над головой или же, держа его перед собой, другой рукой с невероятной быстротой перебирала бубенчики, она походила на танцовщиц из Геркуланума^[121] и каждое ее движение могло внушить художнику множество идей для создания рисунков и картин.

Ее танец совсем не напоминал французские танцы, отмеченные изысканностью и сложностью своих фигур, – ее танец, рожденный талантом, был сродни искусству, требовавшему фантазии и огня. А музыка этого танца требовала точности и плавности движений. Танцуя, Коринна заражала зрителей теми чувствами, какие она переживала сама, и так бывало всегда – импровизировала ли она, играла ли на лире или рисовала: она владела всеми этими языками. Музыканты, глядя на Коринну, воодушевлялись и глубже проникали в дух своего искусства; какая-то бурная радость вместе с какой-то утонченной чувствительностью, разбуженной воображением, воспламеняла всех зрителей ее магических танцев, унося их в тот идеальный мир, где обитает счастье, о котором можно только мечтать, но которого нет на земле.

В неаполитанском танце есть момент, когда дама опускается на колени, а кавалер кружится над нею, и не только как господин, но и как победитель. Как была хороша, как была величава в это мгновение Коринна! Как царственна была она коленопреклоненная! И когда она вскочила и ударила в свой легкий кимвал, то казалось, что ей, упоенной радостью жизни, молодостью и красотой, никто не был нужен для полноты счастья. Но увы! Это было не так! Однако Освальд этого боялся и выпускал вздохи, любуясь Коринной, словно успех ее их разлучил. В конце танца уже кавалер падает на колени, а дама танцует вокруг него. Коринна в это мгновенье превзошла самое себя: она так легко кружилась, что ее ножки в тонких башмачках летали по полу с быстротою молнии; а когда она одною рукой потрясала тамбурином над головой, а другою – сделала знак графу д'Амальфи подняться, все мужчины были готовы броситься, подобно ему, перед ней на колени, – все, кроме лорда Нельвиля, отступившего на несколько шагов, и графа д'Эрфейля, сделавшего несколько шагов вперед, чтобы принести ей свои поздравления. Что же до итальянцев, которые там находились, то они совсем не старались обратить на себя внимание своими похвалами: они просто от всей души восхищались Коринной и выражали свой восторг именно так, как его чувствовали. Они не отличались самолюбием, свойственным представителям высших классов, и не заботились о том, какое впечатление производят их поступки: они никогда не пожертвовали бы удовольствием ради удовлетворения своего тщеславия и никогда не изменили бы своей цели ради громких одобрений.

Коринна, счастливая своим успехом, благодарила всех с присущей ей милой простотой. Она была довольна тем, что все прошло так удачно, и, если можно так выразиться, с детской непосредственностью выражала свою радость. Однако больше всего ей хотелось в эту минуту пробиться сквозь толпу к двери, у которой стоял Освальд. Ей это наконец удалось, и она осталась, чтобы услышать, что он ей скажет.

– Коринна, – вымолвил он, стараясь скрыть свое волнение, свой восторг, свою боль, – Коринна, какое признание, какое торжество! Но есть ли среди всех ваших восторженных

поклонников хоть один верный и мужественный друг? Есть ли среди них хоть один, способный оберегать вас всю жизнь? И неужели этот пустой шум рукоплесканий может удовлетворить такую душу, как ваша?

Глава вторая

Толпа гостей помешала Коринне ответить лорду Нельвилю. Подали ужин, и каждый *cavalier servente*^{11[122]} поспешил занять место рядом со своей дамой. Немного позже приехала одна иностранная гостья; ей уже негде было сесть, но, кроме лорда Нельвиля и графа д'Эрфейля, никому из мужчин не пришлось в голову уступить ей место. Дело тут было не в отсутствии учтивости, не в эгоизме – просто римские аристократы почитают своим долгом и наивысшей честью ни на мгновение не покидать своих дам. Те же, кому не хватило мест, стояли за стульями своих красавиц, ожидая лишь знака, чтобы выполнить малейшее их желание. Дамы говорили только со своими кавалерами; иностранцы безуспешно бродили вокруг этого кружка: с ними некому было перемолвиться словом, ибо женщины в Италии не знают кокетства, чужды тщеславия в любви и хотят нравиться лишь тем, кого любят. Здесь не встретишь холодных оболстительниц, дамы оказывают внимание только тому, кто мил их очам и сердцу. Любовь, вспыхнувшая с первого взгляда, часто превращается здесь в глубокую привязанность, отличающуюся твердым постоянством. Неверность мужчин порицается в Италии более сурово, чем неверность женщин. Трое или четверо поклонников, каждый в своей роли, составляют свиту какой-нибудь дамы, которая иной раз даже не дает себе труда представить их хозяину дома, где ее принимают: один из этих кавалеров ее избранник, другой – мечтает им стать, а третий, кого называют «страдающим» (*il patito*), безнадежно отвергнут, но не лишается права нести службу воздыхателя. Все три соперника мирно ладят друг с другом, ибо только в народе сохранилась привычка в случае ссоры пускать в ход кинжал. В Италии можно встретить причудливое смешение чистосердечия и нравственной испорченности, притворства и правдивости, добродушия и мстительности, силы и слабости; это легко объясняется тем, что здесь добрые качества связаны с полным отсутствием тщеславия, а дурные порождаются стремлением к выгоде, где бы ее ни искали: в любви, в богатстве или на поприще славы.

Различие в общественном положении не играет особой роли в Италии; презрение к аристократическим предрассудкам коренится не в какой-либо философии, а в простоте нравов, в непринужденности обхождения; и поскольку общество не берет на себя обязанности судьи, оно позволяет все.

После ужина сели за карты; одни дамы стали играть в азартные игры, другие же – в степенный вист, и в комнате, только что такой шумной, наступило полное молчание. Жители Юга очень быстро переходят от сильнейшего возбуждения к глубокому спокойствию; вот еще одно противоречие в их характере: беспечная леность в них сочетается с неутомимой энергией. Следует остерегаться высказывать свое мнение об итальянцах по первому впечатлению, ибо они обладают самыми противоположными добродетелями и пороками; если сейчас они кажутся излишне осмотрительными, то через минуту покажут себя безрассудно храбрыми; если сейчас они предаются праздности, то, значит, отдыхают после трудов или же готовятся к ним; вообще говоря, они не расточают своих душевных сил на глазах у всех, но берегут их для решительных действий.

В римском обществе, где находились Освальд и Коринна, были люди, которые могли проиграть огромные суммы, ничуть не изменившись в лице; те же люди сопровождали свой рассказ о каких-нибудь незначительных событиях самой выразительной мимикой и живейшей жестикуляцией. Но когда страсти доходят до высшей точки кипения, они страшатся свидетелей и обычно прячутся, не выдавая себя ни словом, ни жестом.

Сцена на балу вызвала у лорда Нельвиля неприязненное чувство; ему казалось, что итальянцы, с их бурной манерой выражать свой энтузиазм, отвлекли от него, по крайней мере на

¹¹ Буквально – прислуживающий кавалер (*ит.*).

время, внимание Коринны; он жестоко страдал, но уязвленная гордость внушала ему, чтобы он это скрывал или же выказывал пренебрежение к похвалам, которые радовали его блестящую подругу. Его пригласили принять участие в карточной игре. Он отказался; отказалась и Коринна. Она сделала ему знак сесть рядом с нею. Освальд выразил опасение, что скомпрометирует ее, если проведет с нею целый вечер у всех на глазах.

– Пусть вас это не тревожит, – сказала она ему, – никто нами не занимается; у нас в обществе принято делать лишь то, что приятно; у нас не требуют соблюдения условных правил приличия и подчинения этикету: достаточно доброжелательной вежливости; никто здесь не хочет стеснять друг друга. В нашей стране, разумеется, нет такой свободы, как вы понимаете ее в Англии, но зато в обществе у нас наслаждаются полной независимостью.

– Это значит, – возразил ей Освальд, – что у вас не придают никакого значения морали.

– Во всяком случае, – перебила его Коринна, – у нас не знают лицемерия. Ларошфуко еще сказал^[123]: «Самый незначительный недостаток легкомысленной женщины – ее легкомыслие». В самом деле, сколько бы ни грешили женщины в Италии, они не прибегают к обману, и если брачные узы здесь недостаточно почитаются, то это бывает с согласия обоих супругов.

– Причина такого рода вольности нравов, – ответил Освальд, – отнюдь не в правдивости, а в равнодушии к общественному мнению. Я приехал сюда, имея на руках рекомендательное письмо к одной княгине; я велел своему слуге отнести ей это письмо, но он мне сказал: «Сударь, это письмо вам сейчас ни к чему не послужит, княгиня никого не принимает: она *innamorata*»¹². Итак, здесь объявляют во всеуслышание, что такая-то *innamorata*, будто речь идет об обычном житейском деле; и подобная гласность не находит себе оправдания даже в какой-нибудь исключительной страсти; множество сердечных привязанностей, быстро сменяющих друг друга, также становятся общеизвестными. У вас женщины не находят нужным хранить свои тайны и рассказывают о своих увлечениях свободнее, чем наши женщины о своих мужьях. Легко догадаться, что подобная, лишенная стыда, склонность к изменам не может ужиться с глубоким и нежным чувством. Вот почему в литературе вашего народа, который только и думает, что о любви, почти не существует жанра романа: любовь здесь так мимолетна, так доступна постороннему глазу, что она не имеет развития и, чтобы правдиво обрисовать с этой стороны ваши нравы, пришлось бы роман и начать и закончить на первой же странице. Простите меня, Коринна, – воскликнул лорд Нельвиль, заметив, какую боль он причинил ей своими словами, – вы итальянка, и одно это должно было бы меня обезоружить. Но сила вашего несравненного обаяния заключается именно в том, что в вас сочетаются привлекательные черты, присущие разным нациям. Не знаю, в какой стране вы воспитывались, но я не сомневаюсь, что не в Италии вы провели всю свою жизнь, а может быть, вы жили в Англии... Ах, Коринна, если это верно, то как же могли вы покинуть этот храм, где так свято чтут непорочные нравы и чистые чувства, чтобы приехать в страну, где не знают не только добродетели, но даже любви? Ее вдыхают здесь с воздухом, но разве проникает она в сердце? В итальянской поэзии, где столь важное место занимает любовь, много изящества, много игры воображения; блестящие картины, которые украшают ее, написаны яркими, роскошными красками. Но найдете ли вы здесь то нежное, грустное чувство, которое одухотворяет нашу поэзию? Что вы сравните со сценой Бельвидеры и ее мужа у Отвея^[124] с образом Ромео у Шекспира, особенно же с чудесными стихами Томсона в его «Песне о весне»^[125], в которой он рисует такими благородными и трогательными чертами счастье любви в браке? Бывают ли счастливые браки в Италии? и может ли быть любовь там, где нет семейного счастья? Не правда ли, к такому счастью стремится страсть, живущая в сердце, меж тем как страсть чувственная стремится лишь к обладанию? Чем отличаются друг от друга молодые и прекрасные девушки, если не качествами ума и сердца, которые делают одних из них предпочтительнее другим? Чего же достойны их

¹² Влюблена (*ит.*).

высокие качества? вступления в брак, в этот союз мыслей и чувств. Но если у нас, к несчастью, и встречается незаконная любовь, то даже в ней есть, я позволю себе так выразиться, отблеск супружества. В ней ищут того сокровенного счастья, какое не всем выпадает на долю в семье, и даже сама неверность в Англии более нравственна, чем брак в Италии.

Эти суровые слова глубоко ранили Коринну; она тут же встала, вышла из комнаты с глазами полными слез и уехала домой. Освальд был в отчаянии, увидев, как он оскорбил Коринну; но ее успех на балу вызвал в нем такую досаду, что он, не сумев сдержаться, обрушил на нее поток необдуманных слов. Он поехал вслед за ней, но она не пожелала с ним говорить; наутро он снова явился к ней, но напрасно: ее дверь была для него закрыта. Упорное нежелание принять лорда Нельвиля как-то не вязалось с характером Коринны; но ее очень опечалило высказанное им мнение об итальянках, и одно это должно было научить ее в будущем скрывать, насколько это возможно, свое чувство к нему.

Что до Освальда, то он считал, что в поведении Коринны на этот раз не было ее обычной простоты, и неудовольствие, вызванное балом, все возрастало в нем; подобное расположение духа могло бы в конце концов восторжествовать над тем чувством, власти которого он так боялся. У него были строгие правила, и тайна, окружавшая прошлое любимой женщины, заставляла его тяжело страдать. Ему казалось, что, при всем своем очаровательном обхождении с людьми, Коринна порой бывала чересчур оживленной, желая всем нравиться. Он находил, что в ее манере говорить и держаться было много благородства и скромности, но в суждениях, какие она высказывала, слишком много снисходительности. Одним словом, Освальд был покорен и увлечен Коринной, но внутреннее чувство, жившее в нем, сопротивлялось этому. Подобное состояние духа бывает мучительно и вызывает недовольство собой и другими. Человек, страдая, испытывает при этом потребность если не растравлять еще больше свои душевные раны, то добиться решительного объяснения и победить одно из терзающих его противоречивых чувств.

В таком настроении лорд Нельвиль и написал Коринне. Его письмо было проникнуто горечью и не слишком учтиво; он сам это признавал, но какое-то неясное побуждение толкало его отправить это письмо: столь нестерпима была для него происходившая в нем душевная борьба, что он хотел бы любой ценой с ней покончить.

Новость, которую принес ему граф д'Эрфейль и которой он не поверил, быть может, еще усилила резкость выражений его письма. В Риме распространился слух, будто Коринна выходит замуж за князя д'Амальфи. Освальд прекрасно знал, что она не любит князя и что единственным основанием для этого слуха был бал; однако он вообразил, что Коринна принимала у себя д'Амальфи в то утро, когда отказалась принять его самого, и, слишком гордый, чтобы обнаружить свою ревность, удовлетворил свое тайное раздражение, очернив в письме нацию, которую, к его огорчению, так нежно любила Коринна.

Глава третья

Письмо Освальда Коринне

24 января 1795 года

Вы отказываетесь меня видеть; вас оскорбил наш разговор третьего дня; наверное, вы решили никого не принимать, кроме своих соотечественников: очевидно, вы хотите загладить ошибку, которую совершили, допустив к себе иностранца. Однако я не только не раскаиваюсь, что откровенно высказал свое мнение об итальянках, и высказал его вам, той, кого я в своих несбыточных мечтах воображал себе англичанкой, но с еще большей твердостью осмеливаюсь вас уверить, что вы не найдете ни счастья, ни почетного положения в обществе, если изберете себе мужа из числа тех, кто вас окружает. Среди итальянцев я не знаю никого, кто был бы достоин вашей руки, никого, кто принес бы вам честь, женившись на вас, какие бы громкие титулы ни сложил он к вашим ногам. Мужчины в Италии гораздо хуже, чем женщины. Наделенные всеми женскими слабостями, они сверх того обладают еще своими собственными. Неужели вы сможете убедить меня в том, что уроженцы Юга, которые так старательно избегают огорчений и думают об одних лишь удовольствиях, способны любить? Не от вас ли я слышал, что месяц назад вы встретили в театре человека, за неделю до этого похоронившего свою жену, к тому же любимую жену, по его собственному признанию? Здесь спешат отделаться от мысли о покойниках и о том, что существует смерть. Священники с такой же невозмутимостью совершают погребальный обряд, с какой *cavaliere servente* выполняет правила любовного этикета. Все рассчитано заранее в этом привычном ритуале, в нем нет места ни для страданий, ни для восторгов любви. Наконец, и это особенно губительно для любви, ваши мужчины не вызывают уважения у женщин. Бесхарактерные, не знающие серьезных занятий в жизни, они немножго стоят в глазах женщин, у которых находятся в полном подчинении. Для того чтобы законы природы и общественного порядка обнаружили себя в полном блеске, мужчина должен сознавать себя покровителем женщины, должен, охраняя ее, боготворить в ней то слабое существо, которое он охраняет, поклоняться ей как божеству, не имеющему власти, но приносящему счастье своему дому, подобно благим пенатам^[126]. Пожалуй, можно сказать, что в Италии женщина царит, подобно султану, и мужчины там составляют ее сераль.

Ваши мужчины отличаются гибким и податливым нравом, свойственным женщинам. Итальянская поговорка гласит: «Кто не умеет притворяться, тот не умеет жить». Не правда ли, и это чисто женская поговорка? В самом деле, как может мужчина воспитать в себе твердость духа и достоинство, если он живет в стране, где ему недоступна военная карьера, где нет свободных политических учреждений? Вот почему итальянцы направляют все силы своего ума на то, чтобы ловко устраивать свои дела; жизнь для них как бы партия в шахматы, где выигрыш — это все. От античности у них осталось лишь пристрастие к пышным

фразам и к внешнему великолепию; но рядом с этим беспочвенным величием вы постоянно наталкиваетесь на грубейшую безвкусицу и на самое постыдное неряшество в домашнем быту. Почему же, Коринна, этому народу вы отдаете предпочтение перед всеми другими? Неужели вам так нужны бурные рукоплескания итальянцев, что всякая иная судьба без этих оглушительных «браво» представляется вам бесцветной и скучной? Но кто может надеяться, что сделает вас счастливой, исторгнув вас из этой суеты? Вы непостижимая женищина, Коринна! Глубоко чувствующая, но с нетребовательными вкусами; независимая, наделенная гордой душой, но рабски приверженная к развлечениям; способная любить одного, но нуждающаяся во всех. Вы чародейка, которая то приводит в трепет, то успокаивает; порой вы недостигаемы, а то вдруг нисходите с высот, где безраздельно царите, чтобы смешаться с толпой. Коринна, Коринна, как не страшиться тому, кто вас полюбит?

Освальд

Читая это письмо, проникнутое неприязнью и предубеждением против ее народа, Коринна почувствовала себя оскорбленной. Но к счастью, она поняла, что Освальд был до крайности раздосадован и балом, и тем, что она отказалась принять его после разговора за ужином: эта мысль несколько смягчила тягостное впечатление, произведенное на нее письмом. Она колебалась некоторое время – по крайней мере ей казалось, что она колеблется, – раздумывая о том, как повести себя дальше. Чувство влекло ее увидеться с ним, но ее угнетала мысль, что он сможет вообразить, будто она хочет, чтобы он женился на ней, хотя ни по своему состоянию, ни по происхождению – ей стоило лишь открыть ему свое имя – она ни в чем не уступала лорду Нельвилю. К тому же при том особом, независимом образе жизни, какой избрала себе Коринна, она не склонна была выйти замуж и, конечно, отогнала бы от себя эту мысль, если бы, охваченная страстью к Освальду, не позабыла о том, сколько горя ей может принести союз с англичанином и необходимость покинуть Италию.

Ради любви можно поступиться своей гордостью; но едва лишь условности и расчеты света станут на пути у влюбленных, едва лишь появится подозрение, что тот, кого любишь, принесет себя в жертву, соединившись с тобой, как сразу исчезнет возможность свободно выражать свои чувства к нему. У Коринны не хватало духу порвать с Освальдом, но она уверила себя, что сможет видеться с ним, затаив от него свою любовь; с этим намерением она решила написать ему письмо и ответить лишь на его несправедливые обвинения против итальянского народа, ничего больше не касаясь, словно ее только это и занимало. Пожалуй, для выдающейся женщины нет иного способа вновь обрести душевное равновесие и чувство собственного достоинства, как укрыться в область мысли.

Коринна лорду Нельвилю

25 января 1795 года

Если бы ваше письмо касалось только меня, то, право, я не стала бы оправдываться перед вами: мой характер так легко разгадать, что кто сам не в состоянии понять меня, не поймет, даже если бы я стала давать ему пояснения. Добродетельная сдержанность англичанок, тонкая любезность французов помогает им, поверьте мне, скрывать добрую половину того, что происходит у них в душе. Но то, что вам было угодно назвать во мне чародейством, всего лишь естественная непринужденность, которая позволяет порой обнаружить разнородные чувства и противоречивые мысли,

не пытаюсь привести их в согласие, ибо, если и существует подобное согласие, оно всегда бывает искусственным, а правдивые натуры большей частью не бывают последовательны; однако я хочу говорить с вами не о себе, а о том несчастном народе, на который вы с таким гневом обрушились. Уж не моя ли привязанность к друзьям вызвала в вас такую недоброжелательность к итальянцам? Но вы слишком хорошо меня знаете, чтобы ревновать к ним, а я не отличаюсь таким самомнением, чтобы подумать, будто ревность вас сделала столь несправедливым. Вы рассуждаете об итальянцах точно так же, как все иностранцы, которые замечают лишь то, что сразу бросается в глаза; но, чтобы верно судить о стране, проявившей столько величия в разные эпохи, надо уметь видеть дальше и глубже. Чем объяснить, что во времена господства древнего Рима наш народ был самым воинственным на земле, в эпоху средневековых республик – самым рьяным поборником гражданских свобод, а в шестнадцатом веке славился на весь мир своими науками, литературой, искусством? Не блистал ли этот народ славой во всех видах человеческой деятельности? И если теперь эта слава померкла, не виной ли тому политическое положение нашей страны, ибо при других обстоятельствах итальянский народ был бы совсем не таким, каков он сейчас.

Не знаю, может быть, я не права, но прегрешения итальянцев вызывают во мне лишь сочувствие к их судьбе. Чужеземцы издавна вторгались в Италию и раздирали на части эту прекрасную страну – предмет их постоянных властолюбивых возжеланий; и они же горько попрекают итальянцев недостатками, присущими всем побежденным и поверженным народам! Европа, получившая от нас науки и искусства, обратила против нас эти дары и еще оспаривает у нас единственную славу, доступную народу, лишенному воинской мощи и политической свободы, – славу на поприще наук и искусств.

Не подлежит сомнению, что образ правления влияет на характер народов, и в самой Италии можно увидеть удивительное различие в нравах различных государств, которые ее составляют. Пьемонтцы, образующие ядро нации, наиболее воинственны; флорентийцы, знавшие, что такое свобода и терпимость правителей, выделяются своей просвещенностью и душевною мягкостью; венецианцы и генуэзцы отличаются способностью к усвоению политических учений, ибо имеют аристократию, проникнутую республиканским духом; миланцы более искренни, чем остальные итальянцы, ибо народы Севера испокон веков привили им эту черту; неаполитанцы могли бы стать храбрыми воинами, потому что у них столько веков было хоть и несовершенное, но свое собственное правительство. А римская знать, лишенная возможности проявить себя на военном и политическом поприще, неизбежно становилась ленивой и невежественной; но духовенство, перед которым открыта широкая дорога и которое занято серьезной деятельностью, неизмеримо более развито умственно, чем аристократия; папская власть не признает никаких привилегий, связанных с происхождением, и утверждает принцип выборности духовенства – отсюда и происходит своего рода либерализм если не в идеях, то в нравах, что делает пребывание в Риме приятным для тех, у кого уже нет ни честолюбивых стремлений, ни возможности играть роль в обществе.

Народы Юга легче меняются под воздействием государственных учреждений, чем народы Севера; в характере у них есть беспечность, которая скоро превращается в полную покорность судьбе; к тому же природа дает им столько наслаждений, что они без труда утешаются, когда общество отказывает им в известных преимуществах. Конечно, и в Италии велика испорченность нравов, и сама цивилизация там гораздо менее утонченна, чем в других странах. В итальянском народе можно найти еще нечто дикое, несмотря на присущую ему хитрость, которая напоминает хитрость охотника, умело подстерегающего добычу. Беспечные народы склонны к лукавству: они умеют под мягкой улыбкой таить даже гнев, когда им это нужно; такая привычная маска позволяет легко скрывать свое бедственное положение.

В частной жизни итальянцы обычно искренни и верны. Вопросы выгоды и честолюбия имеют над ними большую власть, но соображения гордости и пустого тщеславия – ни малейшей; различия в рангах у них играют лишь незначительную роль; у них нет ни светского общества, ни салонов, ни мод, ни постоянной потребности производить эффект, даже в мелочах. У итальянцев отсутствуют эти вечные источники притворства и зависти: они обманывают своих недругов и соперников, когда находятся с ними в состоянии войны, но в мирное время естественны и правдивы. Вот эта правдивость и способствует вольности нравов, которую вы так порицаете; слушая постоянно объяснения в любви, живя в обстановке стольких любовных соблазнов, женщины уже не прячут своих чувств и вносят, если можно так выразиться, в распущенность оттенков невинности; они совсем не думают о том, что могут показаться смешными, особенно в обществе. Иные из них столь невежественны, что не умеют подписаться и во всеуслышание признаются в этом; они заставляют своих стряпчих (il paglietto) отвечать на записки, полученные ими утром, и эти ответы пишутся на бумаге большого формата и в стиле судебных ходатайств. Но зато среди образованных женщин вы встретите профессоров академий, которые читают публичные лекции, перекинув через плечо черный шарф; и если вы вздумаете над ними смеяться, вас спросят: «Что дурного в том, если женщина знает греческий язык? Что дурного в том, если она своим трудом зарабатывает себе на хлеб? Почему вы смеетесь над такими простыми вещами?»

Наконец, милорд, я собираюсь затронуть очень щекотливый вопрос: чем объяснить, что наши мужчины так редко проявляют воинственный пыл? Они легко подвергают опасности свою жизнь, когда вступает в свои права любовь или ненависть, и удары кинжала, нанесенные или полученные в таком деле, никого не удивляют и никого не страшат; воспламененные истинной страстью, итальянцы ничуть не боятся смерти: они презирают ее. Но часто бывает и так, и это следует признать, что жизнью своей они дорожат больше, чем политикой, которая их мало волнует, ибо у них нет отечества. К тому же понятия рыцарской чести обычно не слишком в почете у народа, не имеющего общественного мнения. Немудрено, что при таком упадке общественной жизни женщины пользуются большим влиянием, быть может чрезмерным, и поэтому не могут уважать мужчин и восхищаться ими. Тем не менее мужчины у нас относятся к женщинам с нежностью и преданностью. Семейные добродетели составляют гордость и счастье

женичины в Англии; но если есть такие страны, где существует любовь вне священных уз брака, Италии среди них принадлежит первое место, ибо нигде не стараются так беречь счастье женичины. Мужчины здесь создали своего рода мораль для отношений вне морали, но, по крайней мере, они справедливы и великодушны в распределении взаимных обязательств; когда порываются любовные связи, мужчины сами считают, что скорее за это в ответе они, ибо женичины большим пожертвовали и большие потеряли; перед судилищем сердца, говорят у нас, большую ответственность несет тот, кто причинил больше страданий другому. Если мужчина виновен, значит, он жесток, если женичина виновна, значит, она слаба. Общество, развращенное и в то же время нетерпимое, следовательно, безжалостное к ошибкам, имеющим гибельные последствия, всегда более сурово к женичине; однако в странах, где не существует общества, в суждениях людей преобладает природная доброта.

Уважение к человеческому достоинству менее развито и, быть может, даже менее известно в Италии, нежели в других странах, не спорю; но причину этого опять-таки следует искать в отсутствии того же общества и общественного мнения. Однако наперекор всем басням о вероломстве итальянцев я утверждаю, что нигде в мире нельзя найти столько добродушных людей, как среди них. Этим добродушием проникнуто даже тщеславие, и, хотя иностранцы говорят много дурного о нашей стране, нигде их не встречают с большим радушием. Итальянцев обвиняют в излишней склонности к льстивым речам; но надобно также признать, что они расточают приятные слова чаще всего без всякого расчета — просто из желания нравиться, из искренней потребности быть любезными, и эти слова отнюдь не противоречат их поведению. Однако способны ли они сохранить верность в дружбе в исключительных обстоятельствах, когда надобно подвергать себя опасностям или бросить смелый вызов врагам? Я согласна, что на это способны лишь немногие; но подобное наблюдение можно сделать не только в Италии.

В повседневной жизни итальянцы отличаются чисто восточной ленью; но нет людей более настойчивых и энергичных, когда воспаляются их чувства. А женичины, которые зачастую напоминают апатичных одалисок в серале, внезапно оказываются способными на подвиги самоотвержения. В характере и силе воображения итальянцев есть много таинственного: то они поражают неожиданными проявлениями великодушия и беззаветной преданности в дружбе, то пугают мрачным духом ненависти и мстительности. В Италии совершенно не развито соперничество: жизнь под этим прекрасным небом походит на сладостный сон; но дайте этим людям цель, и вы увидите, как они за полгода все познают, все постигнут. С женичинами произойдет то же самое: зачем им учиться, если большая часть мужчин их не поймет? чем образованнее будет ум женичины, тем более одиноким будет ее сердце; но в какой короткий срок эта женичина может стать достойной выдающегося человека, если только она полюбит его! Здесь все погружено в сон; но в стране, где подавлены высокие интересы, покой и беспечность заключают в себе более благородства, чем пустая суета из-за пустяков.

Там, где мысль не черпает силу в важной и разнообразной жизненной деятельности, увядают изящные искусства и литература. Однако же, где

они вызывают больший восторг, чем в Италии? Из истории мы знаем, что папы, государи, весь наш народ во все времена воздавали блестящие почести художникам, поэтам, замечательным писателям. Подобное преклонение перед талантами, признаюсь вам, милорд, является главной причиной моей привязанности к этой стране. Здесь вы не встретите людей с пресыщенным воображением, людей, чей насмешливый ум убивает в вас веру в себя, не найдете и деспотической посредственности, которая в других местах так беспощадно мучит и душит таланты. Верная мысль, живое чувство, удачное выражение – все это разгорается ярким пламенем, едва лишь коснется уха слушателей. Талант возбуждает в Италии сильную зависть уже потому, что он занимает здесь первое место. Перголезе был убит из-за своей «Stabat»^[127]; Джорджоне облакался в кирасу всякий раз, когда бывал вынужден рисовать на глазах у толпы; одним словом, зависть, которую в других странах порождает власть, у нас вызывает талант; подобного рода зависть не принижает художника; она может его ненавидеть, гнать, убивать, и все же, охваченная фанатическим восторгом, зависть, и преследуя гения, побуждает его ко все большему совершенству. Наконец, когда видишь, сколько жизни таится в этом стесненном кругу, ограниченном столькими помехами и запретами, нельзя не принять, как мне кажется, горячего участия в этом народе, столь жадно вдыхающем воздух, который, благодаря искусству, проникает сквозь замкнутые границы его существования.

Эти границы, я не отрицаю этого, приостановили развитие у итальянцев того чувства собственного достоинства и той гордости, которые отличают представителей свободных и воинственных наций. В угоду вам, милорд, я охотно соглашусь, что люди с подобным характером скорее способны внушить женщинам восторженную любовь к себе. Но ведь можно также допустить и то, что мужественный, благородный, суровый человек соединяет в себе все качества, достойные любви, за исключением тех, какие могут дать счастье.

Коринна

Глава четвертая

Письмо Коринны еще раз заставило Освальда раскаяться в том, что он мог даже подумать о разрыве с ней. Его восхитило и тронуло то, с каким умом и кротким достоинством возразила она на резкие нападки, которые он позволил себе в своем письме к ней. Он убедился, как велико и неоспоримо ее истинное превосходство над общепринятыми нормами морали. Но он хорошо понимал также, что Коринна не слабая и робкая женщина, которую смущает все, что выходит за пределы ее семейных привязанностей и семейного долга, одним словом, совсем не та женщина, какую он мысленно избрал себе в подруги жизни; к этому идеалу скорее приближался образ двенадцатилетней Люсиль, но кто же мог сравниться с Коринной? Можно ли применять обычные законы к женщине, одаренной столькими достоинствами, талантом и тонкой чувствительностью? Коринна, конечно, была чудом природы, но разве не было чудом то, что подобная женщина остановила свое внимание на нем? Но каково же ее настоящее имя? каково ее прошлое? на что решится она, когда он признается ей в своем желании навек соединить свою судьбу с ее судьбой? Все это тонуло во мраке неизвестности, и, хотя Освальд, увлеченный Коринной, готов был жениться на ней, мысль о том, что жизнь ее не во всем была безупречной и отец его, безусловно, осудил бы этот брак, снова приводила его в смятение и погружала в мучительную тревогу.

Освальд уже не был столь подавлен горем, как в те дни, когда еще не знал Коринны, однако он лишился того спокойствия, какое может усладить душу человека, терзаемого раскаянием, но всецело посвятившего жизнь искуплению своей великой вины. Раньше он не страшился воспоминаний, как бы горьки они ни были, но теперь он боялся предаваться глубоким размышлениям, способным приоткрыть ему то, что происходило в тайниках его души. Он собирался поехать к Коринне, чтобы поблагодарить ее за письмо и испросить у нее прощения за все написанное им, как вдруг в комнату вошел мистер Эджермон, родственник юной Люсиль.

Это был почтенный английский дворянин, живший почти безвыездно в своем поместье, в Уэльсе; у него были свои убеждения и свои предрассудки, которые служат к поддержанию существующего порядка в любой стране; благо, когда этот порядок разумен: в таких случаях люди, подобные мистеру Эджермону, то есть сторонники установленного строя, упорно и слепо привязанные к своим привычкам и мнениям, все же могут почитаться мыслящими и просвещенными личностями.

Лорд Нельвиль вздрогнул, услышав имя мистера Эджермона, о котором доложил слуга: ему показалось, что разом воскресли все его воспоминания; но потом ему пришло в голову, что леди Эджермон, мать Люсиль, прислала к нему своего родственника, чтобы сделать ему выговор и тем самым посягнуть на его свободу. Эта мысль вернула ему твердость духа, и он принял мистера Эджермона с величайшей холодностью. Он был тем более не прав, оказывая мистеру Эджермону подобный прием, что тот не предъявлял ни малейших претензий по отношению к лорду Нельвилю. Мистер Эджермон путешествовал по Италии, чтобы укрепить свое здоровье, занимался физическими упражнениями, ездил на охоту и по всякому поводу пил за здоровье короля Георга и за добрую старую Англию. Это был в высшей степени порядочный человек и даже более умный и образованный, чем можно было подумать, судя по его повадкам. Он был англичанин до мозга костей: не только в положительном, но и в отрицательном смысле; куда бы он ни попал, он не изменял обычаям своей страны, водился только с англичанами и никогда не вступал в разговор с иностранцами – не из высокомерия, но из непобедимого отвращения к чужим языкам, а также из-за того, что и в пятьдесят лет не мог избавиться от застенчивости, мешавшей ему завязывать новые знакомства.

– Очень рад вас видеть, – сказал он лорду Нельвилю, – через две недели я еду в Неаполь – застану ли я вас там? Мне бы очень хотелось этого; ведь мне недолго осталось пробыть в Италии: мой полк скоро отправляется в путь.

– Ваш полк? – повторил лорд Нельвиль и покраснел: он вспомнил, что взял отпуск на год и ранее этого срока его полк не выступит, но покраснел при мысли, что Коринна могла бы заставить его даже позабыть свой долг.

– Ну а ваш полк, – продолжал мистер Эджермон, – еще не скоро будет введен в действие; поправляйте здесь покамест свое здоровье и ни о чем не беспокойтесь. Перед отъездом я видел мою молоденькую кузину, которою вы интересуетесь, она сейчас еще очаровательнее, чем прежде, а через год, когда вы вернетесь, без сомнения, станет первой красавицей Англии.

Лорд Нельвиль промолчал, мистер Эджермон тоже не прибавил ни слова. Они обменялись еще несколькими лаконическими, но дружественными замечаниями. Мистер Эджермон уже выходил из комнаты, как вдруг, что-то вспомнив, остановился.

– Кстати, милорд, вы можете доставить мне удовольствие, – сказал он, – я слышал, что вы бываете у знаменитой Коринны, и хоть я вообще-то не люблю новых знакомств, но познакомиться с ней мне было бы любопытно.

– Если вам этого хочется, – ответил Освальд, – я попрошу у Коринны позволения привести вас к ней.

– И постарайтесь, пожалуйста, – подхватил мистер Эджермон, – чтобы она показала нам, когда мы будем у нее, как она импровизирует, поет, танцует.

– Коринна, – возразил лорд Нельвиль, – не показывает своих талантов иностранцам: это особа во всех отношениях равная нам с вами.

– Извините меня, если я ошибся, – сказал мистер Эджермон, – но так как я не знаю другого ее имени, кроме Коринны, и она в двадцать шесть лет живет совсем одна, без единого родственника, я подумал, что она существует своими талантами и охотно воспользуется случаем их показать.

– У нее совершенно независимое состояние, – с живостью прервал его Освальд, – а душа у нее еще более независимая.

Мистер Эджермон тотчас же прекратил этот разговор, раскаявшись, что начал его, когда увидел, как он задел Освальда. Англичане – самые чуткие и деликатные люди на свете во всем, что касается подлинных чувств.

Мистер Эджермон удалился. Оставшись в одиночестве, лорд Нельвиль невольно воскликнул в волнении:

– Я должен жениться на Коринне, я должен быть ее защитником, чтобы впредь никто не мог о ней судить превратно! Я дам ей то небольшое, что могу дать, – имя, положение, – а она даст мне высшее счастье, какое только одна она на всей земле может подарить.

В таком расположении духа он поспешил к Коринне, как никогда полный нежного чувства любви и надежды; однако по свойственной ему застенчивости он начал разговор с самых незначительных предметов, в том числе с просьбы привести к ней мистера Эджермона. При этом имени Коринна заметно смутилась и дрогнувшим голосом отказалась выполнить желание Освальда. Он был чрезвычайно удивлен.

– Я думал, – сказал он, – что в доме, где принимают столько людей, не могут отказать в приеме человеку лишь потому, что он мой друг.

– Не обижайтесь, милорд, – отвечала Коринна, – поверьте, у меня должны быть очень важные причины для отказа.

– Какие причины? – спросил Освальд. – Вы мне скажете о них?

– Это невозможно! – вырвалось у Коринны. – Совершенно невозможно!

– В таком случае... – начал Освальд, но у него перехватило дыхание от волнения, и он хотел уйти.

Коринна, вся в слезах, сказала ему по-английски:

– Ради бога, если вы не хотите разбить мне сердце, не уходите!

Эти слова и тон, каким они были сказаны, глубоко тронули Освальда; он сел в некотором отдалении от Коринны, молча прислонившись головой к лампе в виде алебастровой вазы, освещавшей комнату.

– Жестокая женщина! – вдруг обратился он к ней. – Вы видите, что я вас люблю, вы видите, что двадцать раз на дню я готов предложить вам мою руку, всю мою жизнь, а вы не хотите сказать мне, кто вы! Скажите мне, Коринна, скажите, наконец! – повторил он, протягивая ей руки с мольбой.

– Освальд! – вскричала Коринна. – Освальд, вы не знаете, какую боль причиняете мне! Если бы я безрассудно открылась вам, вы бы меня разлюбили!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Шла война, и приходилось избегать близости Франции и пограничных с ней местностей... – Победы, одержанные в 1794 г. революционной Францией над интервентами, открыли французской армии путь в Бельгию, Голландию и Рейнскую область.

2.

...увозите меня с собой из Германии... – Граф д'Эрфейль, находясь в Инсбруке, главном городе австрийской провинции Тироль, называет, однако, Австрию Германией, поскольку первая в описываемое время возглавляла так называемую Священную Римскую империю германской нации, продолжавшую свое существование до 1806 г.

3.

Левант (от фр. слова *Levant*, что значит «Восток») – старинное название стран, расположенных на восточном побережье Средиземного моря, главным образом так называли Сирию и Ливан.

4.

Римская Кампанья – пустынная равнина, в центре которой находится Рим.

5.

Дом инвалидов – ансамбль зданий с высоким собором, увенчанным огромным куполом, построенный в XVII в. в Париже для дворян – ветеранов войны; в дальнейшем Дом инвалидов стал военным музеем.

6.

...на площади, где возвышается колонна Антонина... – Эта колонна была воздвигнута в честь победы, одержанной римским императором Марком Аврелием (161–180) над германским племенем маркоманов. Ошибочная надпись, гласившая, будто эта колонна посвящена императору Антонину Пию (138–161), приемному отцу Марка Аврелия, появилась в конце XVI в., когда она была реставрирована по приказу папы Сикста V.

7.

...«пилигримы, которые отдыхают под сенью руин». – Слова из 8-й строфы стихотворения «Рим», написанного немецким ученым-филологом В. Гумбольдтом (1767–1835).

8.

...освященной именами Петрарки и Тассо... – В 1341 г. Петрарка был увенчан лавровым венком на Капитолии; Тассо должен был в 1595 г. получить ту же награду, но, не дождавшись дня торжества, в этом же году умер.

9.

...подобно приключению в духе Ариосто. – Имеется в виду поэма итальянского поэта Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд» (1516), пленявшая читателей сложным переплетением причудливых эпизодов.

10.

Она была одета как сивилла с картины Доменикино. – На картине «Сивилла» итальянского художника Доменико Цампиери, по прозвищу Доменикино (1581–1641), изображена молодая

женщина с тюрбаном на голове и в светлой накидке, брошенной на плечи. Сивиллами в античной мифологии называли «пророчиц», вдохновенных богом.

11.

...месту, столь богатому воспоминаниями древности. – Капитолийский холм был крепостью и религиозным центром древнего Рима. На вершине холма находился храм Юпитера Капитолийского (или просто Капитолий) – главная святыня Рима.

12.

Il parlar che nell'anima si sente... – не совсем точная цитата из ССХІІІ сонета Петрарки. У него: E'l cantar che ne l'anima si sente – «пение, которое слышишь в глубине души».

13.

Авзония – древнее имя Италии.

14.

...греки, искавшие в ней убежища, принесли с собой свои божественные сокровища... – После взятия Константинополя турками в 1453 г. греческие ученые, бежавшие из Византии, привезли в Италию много ценных античных рукописей.

15.

...отвага ее сыновей открыла новое полушарие... – Речь идет о Христофоре Колумбе (1451–1506), уроженце Генуи.

16.

...поэт... воспевший любовь, разбившую ему сердце... – Еще при жизни Тассо сложилась поэтическая легенда, будто причиной его душевной болезни была несчастная любовь к принцессе Элеоноре д'Эсте, сестре герцога Феррарского, Альфонса II, при дворе которого поэт жил много лет.

17.

...подобно его героям, приближавшимся к стенам Иерусалима. – То есть героям поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575).

18.

...иные, более суровые подвиги навеки прославили его имя среди нас... – Речь идет о канцонах Петрарки «Моя Италия» и «Высокий дух», ставших боевыми гимнами патриотов, боровшихся за объединение Италии.

19.

Перголезе (Перголези) Джованни Баттиста (1710–1736) – итальянский композитор, автор произведений церковной музыки и создатель комических опер (опера-буфф), из которых наибольшей известностью пользуется «Служанка-госпожа».

20.

...от Ромула и до Льва Десятого... – Согласно традиции, Ромул основал Рим в 754 г. до н. э.; Лев X, пользовавшийся репутацией покровителя искусств и наук, занимал папский престол с 1513 по 1521 г.

21.

«Лилии не трудятся, не прядут...» – неточная цитата из Евангелия (Мф. 6: 28–29): «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них».

22.

...кладут к ногам божества венок, который они не смеют возложить на его голову. – Парафраз двустишия Проперция:

23.

...на мосту Святого Ангела, ведущего к замку того же имени, вернее, к гробнице Адриана, перестроенной в крепость. – Этот мост, переброшенный через Тибр, был выстроен в 134 г. н. э. императором Адрианом (117–138). Замок, стоящий за мостом на правом берегу Тибра, – начатый постройкой в 135 г. н. э. Адрианом и законченный Антонином Пием, – служивший в древности усыпальницей императорам, был превращен в крепость в начале Средних веков. Статуя Адриана, венчавшая раньше здание, была заменена тогда фигурой ангела с мечом, откуда и название этого сооружения. Папы, а затем итальянские короли использовали замок Святого Ангела как политическую тюрьму.

24.

Транстеверинская сторона (иначе «Трастевере») – старинная часть Рима, расположенная за Тибром, на его правом берегу.

25.

Кто она – Армида или Сафо? – Армида – героиня поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» – прекрасная волшебница, чье имя стало нарицательным для обозначения обольстительной ветреной красавицы. Сафо – греческая поэтесса (VII–VI вв. до н. э.), воспевшая любовь как глубокое пламенное чувство.

26.

Пантеон, ныне именуемый церковью Святой Марии Ротонды. – Знаменитый памятник римского зодчества, Пантеон в VII в. был превращен в католическую церковь, получившую название Ротонды из-за своей круглой формы.

27.

...был посвящен Агриппою... – Пантеон был сооружен в I в. до н. э. римским полководцем и политическим деятелем Агриппой (около 63–12 г. до н. э.), зятем и другом императора Августа. В начале II в. н. э. Пантеон, пострадавший от пожара, был перестроен Адрианом и в таком виде дошел до нас.

28.

...посвятил храм всем олимпийским богам... – Об этом говорит само слово «Пантеон» (от греч. pan – все и theos – бог).

29.

...он открыт доступу света... – В Пантеоне свет падает сквозь прорезанное в куполе отверстие.

30.

В святилище Пантеона находятся бюсты наших прославленных художников... – В Пантеоне находится гробница Рафаэля. Там похоронены также живописец и зодчий Балтазаро Перуцци (1481–1536), Аннибале Каррачи (1560–1609), Таддео Цуккаро (1529–1566) и несколько других выдающихся итальянских художников эпохи Возрождения.

31.

Здесь оборонялся от готов Велисарий... – Византийский полководец Велисарий (около 505–565), сподвижник императора Юстиниана I, вел войны против германских племен, захвативших территорию Западной Римской империи. В 537 г., укрывшись со своими войсками в мавзолее Адриана, Велисарий выдержал осаду остготов (восточных готов) и заставил их отступить.

32.

Кресценций – римский патриот, боровшийся против германского владычества в Италии, в 998 г. был обезглавлен на зубцах стены замка Святого Ангела, в котором защищался со своими сторонниками от войск императора Оттона III.

33.

...таков был гордый замысел Микеланджело... – Микеланджело, возглавивший в 1547 г. продолжение постройки собора Святого Петра, предполагал окружить его обширной площадью, чтобы здание, с небывалым по своим масштабам куполом, можно было обозревать полностью со всех сторон. Однако в начале XVII в. по указанию папы Павла V здание собора было удлинено для того, чтобы оно приняло форму латинского креста, и целостность композиции Микеланджело оказалась нарушенной: передний фасад, сильно выдвинутый вперед, отчасти заслонил собой купол.

34.

Целый мир ты, о Рим, однако, лишенный любви... – стихи из «Римских элегий» Гёте (I, 13–14). Перевод С. Шервинского.

35.

...не торопитесь приподнять занавес... – В римских католических храмах обыкновенно двери раскрыты настежь, но сверху донизу прикрыты плотным занавесом.

36.

...собор Святого Петра – это храм, возвышающийся над церковью. – Собор был построен над обветшавшей базиликой Святого Петра, существовавшей с IV в. Фундамент и часть стен этой старой церкви остались нетронутыми.

37.

...напоминает непрерывную застывшую музыку... – Сравнение архитектуры с застывшей музыкой, впервые высказанное Шеллингом, повторенное Шлегелем и де Сталь, вызвало отклик и у Гёте. «Один благородный философ, – писал он, – говорил о зодчестве как о застывшей музыке, и за то не раз подвергался насмешкам. Мы думаем, что лучше передадим эту прекрасную мысль, назвав архитектуру обледеневшей мелодией» (Гёте. Максимумы и рефлексии. Собр. соч. Т. X. 1937. С. 727).

38.

...затративших в течение полутора лет... – Строительство собора Святого Петра, начавшееся в 1506 г. по плану архитектора Браманте, велось почти до середины XVII в. под руководством Рафаэля, Микеланджело, Мадерно, Бернини и др.

39.

...Альфьери, самый гордый из новейших наших поэтов. – Творчество Витторио Альфьери (1749–1803), создателя итальянской национальной трагедии классицизма, было проникнуто идеей борьбы против тирании.

40.

...там похоронены... чужеземные государи: Христина, отрекшаяся от престола, Стюарты – после падения их династии. – Христина, шведская королева (1632–1654), перешедшая в католичество и отказавшаяся от престола в протестантской Швеции, последние годы жизни провела в Риме, где и была похоронена в соборе Святого Петра. Стюарты – имеются в виду Иаков Стюарт, известный в истории под прозвищем Претендент (1688–1766), неоднократно, но неудачно пытавшийся вернуть себе престол своего отца (Иакова II, низвергнутого с английского престола в 1688 г.), и два его сына: Карл-Эдуард, так называемый Молодой Претендент, также пытавшийся завоевать престол своего деда, и Генрих. Все трое похоронены в соборе Святого Петра в одной гробнице.

41.

Cadono le citta, cadono i regni... – Неточная и сокращенная цитата из Тассо. У Тассо:

42.

Оссиан – легендарный кельтский бард, живший, по преданию, в III в. н. э. В 1762 г. шотландский поэт Макферсон издал под его именем сборник эпических поэм («Песни Оссиана»), проникнутых сентиментально-меланхолическим настроением и оказавших большое влияние на развитие европейской романтической поэзии.

43.

С высоты Капитолия – в его нынешнем виде – можно отлично рассмотреть семь римских холмов... – То есть с высокой башни на Дворце сенаторов (обычно его называют Капитолием), который стоит в центре архитектурного ансамбля на Капитолийской площади. Семь римских холмов: Палатин, Капитолий, Квиринал, Целий, Авентин, Эсквилин, Виминал.

44.

Священная дорога – главная улица древнего Рима, по которой с Форума на Капитолий проходили триумфальные шествия.

45.

...поднимался Сципион, когда, посрамив своих клеветников... он спешил в храм возблагодарить богов... – По рассказу Тита Ливия, римский полководец Публий Сципион Старший (около 235–183 гг. до н. э.), прозванный Африканским в честь победы, которую он одержал над Ганнибалом во II Пунической войне, был обвинен недругами в утайке государственных денег. Защищаясь перед народом, Сципион будто бы сказал: «Римляне, в такой же день, как этот, я победил Ганнибала и Карфаген, так взойдемте же на Капитолий и возблагодарим богов!» Рассказ этот неточен. Такое обвинение было выдвинуто не против Сципиона Африканского, а против его брата – Луция Сципиона Азиатского, предводительствовавшего римским войском в войне с Сирией (190 г. до н. э.).

46.

...мирный магистрат, нашедший здесь приют... – Во Дворце сенаторов (Капитолии), выстроенном в Средние века, в течение столетий помещалось городское управление (магистрат). Там и поныне находится римский муниципальный совет.

47.

Тарпейская скала – скала на одном из склонов Капитолийского холма, откуда в древнем Риме сбрасывали осужденных на смерть преступников.

48.

A guisa di leon... – Данте. Чистилище (VI, 66).

49.

Кастор и Поллукс. – В римской и греческой мифологии Кастор и Поллукс (у греков Полидевк), сыновья Зевса и Леды, считались покровителями воинов в битве. К тому же Кастор славился как кулачный боец, Поллукс – как укротитель коней.

50.

Марий (156–86 гг. до н. э.) – римский полководец и политический деятель, глава народной партии (популяров), победитель тевтонов и кимбров – германских племен, угрожавших Риму вторжением (102–101 гг. до н. э.).

51.

Диоскуры – буквально «чада Зевса», т. е. Кастор и Поллукс.

52.

...счастливый век императоров... – Счастливым веком императоров называли период правления династии Антонинов (Нерва, Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий и др.), которые правили с 96 по 192 г. и до предела расширили границы Римской империи.

53.

Юпитер Феретрийский – т. е. «разящий» (от лат. feretrius) – прозвище Юпитера, которому приносили в дар доспехи побежденных римлянами врагов.

54.

Мамертинские темницы – самая древняя тюрьма Рима.

55.

Анк Марций (VII в. до н. э.) – четвертый из семи полулегендарных римских царей.

56.

Сервий Туллий (VI в. до н. э.) – шестой из семи римских царей.

57.

...погибли Югурта и Катилина... – Югурта, царь Нумидии (в Сев. Африке), вел с Римом затяжную войну (111–105 гг. до н. э.). Потерпев поражение, он в цепях был привезен в Рим и удушен в Мамертинской тюрьме. Там же были удушены пять сообщников Катилины – политического деятеля древнего Рима, возглавившего неудавшийся заговор (63 г. до н. э.)

против сенатской олигархии. Сам же он погиб в сражении с римским войском в Этрурии, куда отправился, когда Цицерон раскрыл его заговор.

58.

...до стен Сервия Туллия... – Древнейшая стена, постройку которой приписывали Сервию Туллию, была выстроена в Риме в IV в. до н. э., т. е. уже в республиканское время.

59.

...раскинулся до Аврелиановых стен... – Император Аврелиан (270–275) обнес Рим стенами для защиты города от вторжения варваров.

60.

Рим станет царским дворцом. – Общеизвестная анонимная эпиграмма времен Нерона, намекавшая на захваченные им уличные участки под его «Золотой дом» (см. примеч. 1 к кн. IV, гл. V).

61.

...после завоевания Сицилии... – Сицилия была завоевана Римом в 241 г. до н. э. в результате победы над Карфагеном в I Пунической войне.

62.

...триумфальная арка Септимия Севера... – Была поставлена в Риме в 203 г. н. э. в честь побед императора Септимия Севера (193–211) над парфянами и арабиянами.

63.

Каракалла и Гета. – Известный своей жестокостью император Каракалла (211–217) в течение двух лет правил совместно с братом Гетой, убитым затем по его наущению.

64.

...храм Фаустины – свидетельство безрассудной слабости Марка Аврелия... – По рассказам современников, Фаустина (Младшая), жена Марка Аврелия, не отличалась строгостью нравов, что не мешало ей пользоваться любовью своего супруга. Однако храм, о котором идет речь, был выстроен (141 г. н. э.) не в ее честь, а в честь ее матери – Фаустины (Старшей) – императором Антонином, мужем последней. Этот храм называли также храмом Фаустины и Антонина.

65.

Храм Юпитера-Статора (т. е. «останавливающего беглецов») – был, по преданию, построен Ромулом на том самом месте, где Юпитер остановил римлян, бежавших под натиском сабинян.

66.

...близ бездны, куда бросился Курций... – По преданию, на римском Форуме в древности разверзлась бездна, и жрецы объявили, что она закроется лишь в том случае, если Рим пожертвует самым для него дорогим. Тогда юноша по имени Марк Курций, воскликнув, что самое дорогое для Рима – это оружие и храбрость, сел в полном вооружении на коня и бросился в бездну, которая тотчас же закрылась за ним.

67.

...арка, воздвигнутая в честь завоевания Титом Иерусалима. – Иерусалим был завоеван и разрушен в 70 г. н. э. будущим императором Титом (79–81), тогда еще командующим

римскими войсками в Иудейской войне (66–73). Арка в память этого события была воздвигнута в 80 г.

68.

...арка Константина, покрытая барельефами, которые христиане похитили с форума Траяна... – Арка императора Константина (306–337), который принял христианство и допустил свободное исповедание христианского культа в Риме, была воздвигнута в 315 г. в честь его победы над Максенцием, также претендовавшим на римский престол. Часть скульптурных украшений арки Константина была снята с памятников более ранней эпохи, в том числе и со стен, окружавших форум императора Траяна (98–117).

69.

...храма Мира, выстроенного Веспасианом... – Храм богини Мира, выстроенный в 75 г. н. э. императором Веспасианом (69–79), считался самым большим зданием древнего мира. В нем хранились несметные сокровища, награбленные римлянами у завоеванных народов.

70.

Тит... посвятил Колизей римскому народу... – Колизей начал строиться ок. 75 г. н. э. при Веспасиане. Тит, его сын, продолжив это строительство, открыл Колизей в 80 г. для праздников, длившихся сто дней.

71.

«Крестный путь». – В половине XVIII в. по приказу папы Бенедикта XIV на середине арены Колизея был водружен высокий деревянный крест, а вокруг нижнего ряда амфитеатра поставлены часовенки, символизировавшие этапы крестного пути Христа. В Страстную пятницу на территории Колизея совершались богослужения и происходили религиозные процессии. Все эти папские сооружения были уничтожены в 1874 г.

72.

Палатинский холм весь был застроен Дворцом цезарей, или, как его называли, «Золотым дворцом»... Строительство дворца поочередно вели Август, Тиберий, Калигула, Нерон... – Палатинский холм, ставший со времени Августа императорской резиденцией, постепенно застраивался дворцами, соединившимися затем в один дворец. Однако де Сталь ошибается, называя его «Золотым дворцом». «Золотой дворец» или, вернее, «Золотой дом», отличавшийся неслыханной роскошью, построил себе Нерон после пожара 64 г.; когда Нерон пал, «Золотой дом» был разрушен.

73.

...Гортенсий, Гракхи – все они имели дома на Палатинском холме, где позже, во времена упадка Рима, едва хватало места для чертогов одного человека. – Гортенсий (114–50 гг. до н. э.) – поэт и оратор, соперничавший в искусстве красноречия с Цицероном; Гракхи – Тиберий (163–133/132 гг. до н. э.) и его брат Гай (153–121 гг. до н. э.) – народные трибуны древнего Рима, боровшиеся за интересы малоземельного крестьянства и погибшие в этой борьбе;

74.

...осталось несколько комнат от бань Ливии... – Имеется в виду т. н. домик Ливии, жены Августа, выстроенный на Палатинском холме. Пейзажная роспись стен этого домика принадлежит к замечательным образцам римской живописи, сохранившейся до нашего времени.

75.

...если правдиво предание, что Ливия сократила дни Августа... – В книге «Жизнь и нравы римских императоров» римский историк Секст Аврелий Виктор (IV в.) писал: «Достигнув семидесяти семи лет, он (Август) умер от болезни в Ноле. Некоторые, однако, пишут, что он погиб от козней Ливии, боявшейся, что ей придется пострадать от сына падчерицы Агриппы, если он станет у власти».

76.

О чем вспоминал он... о проскрипциях? – Проскрипции, т. е. списки людей, объявленных вне закона и которых каждый имел право убить и получить за это вдобавок награду, были введены диктатором Суллой (133–78 гг. до н. э.), боровшимся с народной партией. В начале своего правления Август также пользовался проскрипциями для расправы с врагами.

77.

...в память того, что Ветурия остановила Кориолана. – По преданию, патриций Кориолан (V в. до н. э.), не желавший признавать права плебеев, перешел на сторону враждебного римлянам племени вольсков и вместе с ними осадил Рим. Но он внял мольбам своей матери Ветурии и жены Волумнии, явившихся к нему в сопровождении толпы римских женщин, и отказался воевать с родным городом.

78.

Порсенна (VI в. до н. э.) – царь этрусков, воевавший с Римом.

79.

Гораций Коклес – легендарный римский герой, в одиночку защищавший мост над Тибром против всего этрусского войска.

80.

...островок, образовавшийся из снопов пшеницы, собранной с полей Тарквиния... – По рассказу Тита Ливия, после того как последний римский царь Тарквиний Гордый (VI в. до н. э.) был свергнут с престола, народ, ненавидевший его за жестокость, бросился на царские поля и свалил с них в Тибр всю жатву. Масса паков была так велика, что река не могла ее сдвинуть с места и засыпала песком. Так образовался нынешний остров на Тибре.

81.

...примером дочерней привязанности. – По преданию, дочь римлянина Кимона, заключенного по приговору сената в темницу и обреченного на голодную смерть, тайком посещала своего отца и кормила его грудью, чтобы спасти от гибели.

82.

Клелия. – По рассказу историка Секста Аврелия Виктора, в числе заложников победителя Рима Порсенны была и знатная девица Клелия. Обманув стражу, она ночью вышла из вражеского лагеря и, сев на коня, переплыла Тибр. По требованию Порсенны Клелия была ему возвращена, но, удивляясь ее мужеству, он позволил ей вернуться на родину. В честь Клелии ее соотечественники воздвигли на Форуме конную статую.

83.

...здесь... встречались друг с другом Цезарь и Помпей, желавшие склонить на свою сторону Цицерона... – В 60 г. до н. э. три видных политических деятеля Рима (Юлий Цезарь, Помпей и Красс) образовали т. н. первый триумвират, противопоставивший свою власть сенату. Одно время триумвиры старались привлечь к себе Цицерона, ставшего весьма популярным после того, как он раскрыл заговор Катилины (см. примеч. 15 к кн. IV, гл. IV).

84.

На Авентинском холме Вергилий поместил пещеру Какуса... – Огнедышащее чудовище Какус описано Вергилием в VIII песне «Энеиды».

85.

Кола ди Риенци – см. примеч. 2 к кн. IV, гл. III.

86.

Меценат (74/64–8 гг. до н. э.) – друг и советник Августа, покровительствовавший Вергилию, Горацию, Проперцию и другим поэтам его эпохи. Имя Мецената стало нарицательным для обозначения покровителя искусств.

87.

...моделью для арабесок Рафаэля послужили фрески из терм Тита. – Рафаэль использовал некоторые мотивы фресок из терм Тита для росписи лоджий в Ватикане.

88.

Группа Дирке – вернее, «Фарнезский бык». «Геркулес Фарнезский», «Флора Фарнезская» и «Фарнезский бык» – скульптуры древнегреческих мастеров, дошедшие до нас в римских копиях и ныне хранящиеся в Неаполитанском музее, – названы «фарнезскими», потому что они когда-то находились в коллекции знатной итальянской семьи Фарнезе.

89.

Недалеко от Остии, в банях Нерона, был найден Аполлон Бельведерский. – Де Сталь ошибается: статуя Аполлона Бельведерского была найдена в конце XV в. не в Остии (морской гавани Рима в устье Тибра), а в древнем Анциуме, родном городе Нерона, расположенном на мысу, вдающемся в Тирренское море.

90.

Театр Марцелла – вмещавший 20 000 зрителей, был выстроен в 11 г. до н. э. Августом в память своего племянника и зятя, рано умершего Марцелла, которого император прочил себе в преемники.

91.

Плиний рассказывает... – Здесь речь идет о Плинии Старшем (23/24–79 гг. н. э.), римском ученом, авторе 36-томного труда «Естественная история».

92.

Саллюстий (86–33 гг. до н. э.) – римский историк, автор труда «Заговор Катилины».

93.

...башня Конти, с которой Нерон, по преданию, любовался пожаром Рима... – По Светонию («Жизнеописание двенадцати цезарей»), Нерон смотрел на римский пожар в 64 г. н. э. с высоты дворца Мецената.

94.

...портиком Октавии – женщины, столь сильно любившей и столь много страдавшей... – Портик, выстроенный Августом в честь его сестры Октавии, которая хоть и была покинута своим мужем Марком Антонием ради египетской царицы Клеопатры, но оставалась ему верной женой.

95.

«Проклятая дорога» – улица на Эсквiline, где, по преданию, Туллия, младшая дочь царя Сервия Туллия, переехала через труп своего отца.

96.

...храм, воздвигнутый Агриппиной в честь Клавдия... – Жена римского императора Клавдия (41–54) Агриппина Младшая отравила его, чтобы доставить власть своему сыну Нерону.

97.

...миновали гробницу Августа, за внутренней оградой которой можно сейчас видеть площадку, служившую некогда ареной для боя хищных зверей. – Гробница Августа, сооруженная им при жизни для себя и своих преемников, в XII в. была до основания разрушена. В начале XIII в. круглое основание гробницы было обращено в арену для боя быков и других представлений, а развалины вокруг – в амфитеатр. Папа Пий VIII потом запретил эти зрелища, и площадка была засыпана обломками.

98.

«Вода девы». – На одном из барельефов, украшающих римский фонтан Треви, изображена легендарная девушка, которая указывает отряду изнывающих от жажды воинов источник чистой воды, названный в честь этого события Aqua virgo (Вода девы). Акведук, сооруженный на этом месте Агриппой в 33 г. до н. э., и по сей день снабжает «водой девы» бассейн фонтана Треви.

99.

Аппиева дорога – была проложена для военных целей в 312 г. до н. э. при цензоре Аппии Клавдии и вела из Рима в Капую.

100.

Гробница одного из Сципионов... – Мраморная гробница Сципиона Брадатого, консула (298 г. до н. э.), хранящаяся сейчас в музее Ватикана, является одним из древнейших скульптурных памятников Рима.

101.

...богу, внушившему Ганнибалу повернуть свои стопы обратно... – Во время II Пунической войны Ганнибал со своим войском уже был у ворот Рима, но неожиданно снял с него осаду. В память этого события был воздвигнут храм, посвященный богу возвращения.

102.

Нимфа Эгерия. – По древнему преданию, нимфа Эгерия была возлюбленной и тайной советчицей Нумы Помпилия, второго из семи римских царей (VIII–VI вв. до н. э.).

103.

С тех пор как Цинциннаты перестали ходить за плугом... – Цинциннат (V в. до н. э.) – римский государственный деятель, консул и полководец, удалившись в сельское уединение, своими руками обрабатывал принадлежащий ему маленький участок земли. Имя Цинцинната стало нарицательным для обозначения человека, отличающегося суровой простотой.

104.

...юной Цецилии Метеллы... – Гробница Цецилии Метеллы, супруги римского полководца Красса Младшего (сына триумвира), воздвигнутая в I в. до н. э. неподалеку от Рима, сохранилась и до нашего времени. Первоначальный вид памятника нарушен венчающей его зубчатой бойницей, пристроенной к нему в XIII в., когда гробница была превращена в башню.

105.

«Да, – говорит Корнелия, – ни одно пятно не легло на мою жизнь от факела Гименея и до погребального костра...» – пересказ стихов Проперция:

106.

...подле урны Ливии... – один из самых больших римских колумбариев, в котором могло поместиться не меньше 3000 урн, выстроенный на Аппиевой дороге женою Августа Ливией для ее рабов и вольноотпущенников, был раскопан в 1726 г. Потом развалины колумбария были заброшены, и от них остались лишь планы и зарисовки.

107.

...зарывали живыми в землю весталок, изменивших своему обету... – Весталки, жрицы богини домашнего очага Весты, давали обет безбрачия в течение тридцати лет.

108.

Пирамида Цестия – претора, противника Марка Антония. Памятник поставлен наследниками Цестия, умершего, вероятно, в 43 г. до н. э. во время тогдашних проскрипций.

109.

...существует... как ограда современного города. – См. примеч. 17 к кн. IV, гл. IV.

110.

Гораций. – «Оды», II, 3, 4; «Оды», II, 14, 21–22.

111.

...до жеманного шевалье Бернини, близкого по манере итальянским поэтам XVII века... – Де Сталь разделяла существовавшее в художественной критике XVIII в. отрицательное отношение к знаменитому архитектору и скульптору Бернини (1598–1680) за его пристрастие к обилию эффектных декоративных деталей. Сравнивая Бернини, сыгравшего большую роль в развитии стиля барокко, с итальянскими поэтами XVII в., де Сталь имеет в виду творчество поэтов «маринистов» (по имени поэта Марино), культивировавших изысканный вычурный стиль поэзии и, по существу, доведших до абсурда отдельные стороны манеры барокко.

112.

...блестящая пора Медичи... – Первые Медичи, члены богатейшего банкирского рода, захватившие в XV в. власть во Флоренции, сумели придать блеск своему правлению. При Лоренцо Медичи, прозванном Великолепным (1448–1492), который сам был выдающимся поэтом и окружил себя поэтами, художниками и учеными, Флоренция превратилась в один из крупнейших культурных центров Италии.

113.

...сохранили еще на своих капителях фигурки гусей, спасших римский народ. – Известное предание о гусах, спасших Рим, связано с поражением, которое потерпело римское войско в 390 г. до н. э. от галлов. Вторгшись в Рим и разграбив его, галлы осадили Капитолий, защищавшийся уцелевшим отрядом римских воинов. Однажды ночью, как рассказывает предание, когда галлы уже поднялись на Капитолий, священные гуси, содержащиеся при храме Юноны, своим гогогом предупредили стражу о приближении врагов, и те были отбиты.

114.

...святая лестница... – На Латеранской площади, в помещении, сооруженном в XVI в., находится лестница, привезенная, по преданию, в 326 г. в Рим из Иерусалима. Считается, что по этой лестнице, взятой из дворца Пилата, несколько раз поднимался и спускался Христос.

115.

Посреди площади перед церковью высится обелиск... – Этот обелиск был поставлен в XV в. до н. э. египетским фараоном Тутмосом III перед храмом бога Амона в Фивах.

116.

...варвар Камбиз... почтил своим уважением... – По рассказам античных ученых, персидский царь Камбиз (527–523/522 гг. до н. э.), завоевавший Египет в 525 г., произвел там целый ряд разрушений. Однако, по сообщению Плиния, Камбиз пощадил от пожара древний египетский город Гелиополь, восхитившись украшавшими его обелисками.

117.

Римляне чудесным образом перевезли его из глубины Египта в Италию... – По приказу римского императора Константина Великого этот обелиск высотой в 32,5 м сплавили по Нилу, но успели довести только до Александрии. После смерти Константина обелиск по морям и Тибру был доставлен в Рим, где его установили в Большом цирке. В XVI в. обелиск, разбитый на части и ушедший глубоко в землю, был по приказу папы Сикста V реставрирован и водружен на Латеранской площади.

118.

Павсаний (II в.) – греческий историк и географ, оставивший знаменитое «Описание Греции» в 10 книгах, являющееся ценным источником для археологии и истории античного искусства.

119.

Вилла Боргезе – была выстроена в конце XVI в. неподалеку от центра Рима кардиналом Боргезе. Парк, открытый для гулянья, и музей, в который потом превратилась вилла Боргезе, славятся собранными в них первоклассными произведениями искусства.

120.

Елисейские поля – блаженная обитель, где тени праведников и героев счастливо проводят время среди лесов и дубрав (ант. мифология).

121.

...она походила на танцовщиц из Геркуланума... – С 1738 г. начались раскопки древнего римского города Геркуланума, погибшего в 79 г. н. э. при извержении Везувия. Возможно, что де Сталь имеет в виду какие-нибудь изображения танцовщиц на геркуланумских фресках, сохранившихся в большом количестве, так же как и другие памятники искусства.

122.

Cavaliere servente – постоянный спутник замужней итальянской дамы, сопровождающий ее в обществе и всеми признанный ее поклонник (то же, что и «чичисбей»). Этот обычай существовал в XVIII и начале XIX в.

123.

Ларошфуко еще сказал... – Ларошфуко Франсуа де (1613–1680) – французский писатель-моралист, автор знаменитой книги «Размышления, или Сентенции и максимы о морали» (1665). Приведенный афоризм напечатан в этой книге под номером 131.

124.

Что вы сравните со сценой Бельвидеры и ее мужа у Отвея... – Очевидно, имеется в виду сцена в пьесе английского драматурга Томаса Отвея (1652–1685) «Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор» (1682), в которой Бельвидера, жена Джафьера, участника заговора против Венецианской республики, умоляет мужа выдать тайну этого заговора Совету Десяти.

125.

...чудесными стихами Томсона в его «Песне о весне»... – вернее, в «Весне», входящей в состав «Времен года» (1730) – описательно-дидактической поэмы, принесшей ее автору, английскому поэту Томсону (1700–1748), европейскую известность.

126.

...подобно благим пенатам. – Т. е. римским богам, хранителям семейного очага.

127.

Перголезе был убит из-за своей «*Stabat*»... – Этот факт не подтверждается биографией Перголезе. «*Stabat [mater]*» («Мать скорбящая стояла») – оратория для двух женских голосов, органа и струнного квартета, принадлежит к известнейшим произведениям церковной музыки.